

Д.

и

П

ОСЛЕ

Литературный альманах 5

2001

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ



ДО
И
ПОСЛЕ

БЕРЛИН

2001

Авторы,
члены Клуба литературы и искусства
при Треффпункте «ХАТИКВА»
(Oranienburger str. 31),
выражают сердечную благодарность
руководству Берлинского отделения ZWST,
господину Иосифу Варди
за содействие и поддержку
в издании альманаха.

Редколлегия:
Леонид Бердичевский
Екатерина Гескина
Марлен Глинкин
Альфред Ходорковский
Давид Яновский

Обложка и макет: В. Демидов

Типография издательства NG Verlag
Tel.: (030) 4442460
Fax: (030) 44739165

Все права сохраняются за авторами

ISBN 5-89138-003-8

Гарнитура текста: Times News Roman Cyr

Рисунок на стр. 240: Junior Jewish Encyclopedia,
Shengold Publishers, Inc., New York City, 1967, p.43.

ПОЭЗИЯ
И ПРОЗА

КАРЛ АБРАГАМ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХЕЛЬГИ ВЕБЕР

Поздняя берлинская осень, ясный солнечный день. Накануне я договорился о визите к одной даме весьма почтенного возраста, которую мне предстояло осмотреть и решить вопрос о необходимости ухода за ней. Я шел к ней с чувством некоторой неловкости, так как знал, что посещение моё совпадает с днем её рождения. Ну кому, думаю, охота в такой день показываться врачу и рассказывать о своих болячках, о своей беспомощности? Каким бы деликатным ни был врач и каким бы интеллигентным ни был пациент, что бы вы ни говорили, есть в осмотре доктора нечто унижительное. Одним словом, ноль положительных эмоций, только отрицательные. Так что вовсе не обязательно заявляться к больному, думал я про себя, в день его рождения.

Между тем, я быстро разыскал дом и нужную квартиру. Дверь открыла милостивая белокурая женщина. На вид ей было где-то около сорока. Она представилась дочерью больной. В прошлом детский врач, она уже несколько лет как оставила свою работу из-за матери.

Мы прошли в небольшую комнату. Там на кровати лежала старая женщина, которую мне предстояло осмотреть. Она лежала на спине вся в белом, взгляд её был устремлен в никуда; она не обратила внима-

ния, что кто-то вошёл в комнату и поздоровался с ней. Дочь пыталась её хоть как-то расшевелить: «Мама, посмотри, к нам доктор пришёл, он хочет тебя осмотреть. Ну скажи доктору, что у тебя болит».

Ответа не последовало. Она очень слаба, уже несколько месяцев не встает с постели. Кормить её приходится с ложки, сама она есть уже не в силах. Я встал на колени, чтобы хоть как-то до неё «достучаться».

«Может быть, вы скажете ей что-то по-русски?» — говорит дочь. «С чего это вы взяли, что я знаю по-русски?» — спросил я её по-немецки с вызовом. «А я вас еще вчера “вычислила”, когда мы договаривались по телефону». Вот, думаю, ничего себе. Это всё мой проклятый акцент, от которого я, по-видимому, уже никогда не избавлюсь. Стоит мне войти в какой-нибудь дом и сказать только одну фразу: «Guten Tag», как тут же спрашивают: «Woher kommen Sie?» Неужели у меня и впрямь такое корявое произношение?

Дочь между тем продолжала: «Вы ведь знаете, у нее сегодня день рождения, а русская речь ей знакома с детства. Это, можно сказать, её второй родной язык. Вот, посмотрите сюда!» И она указала мне на книжную полку, где наряду с немецкими книгами стояли русские книги: русские народные сказки, томик Пушкина и «Избранное» Лермонтова. Полка располагалась на расстоянии вытянутой руки больной. Было видно, что книги читанные-перечитанные.

Да, в тот день, 15 ноября, фрау Хельге Вебер исполнилось 95 лет. И тогда я обратился к ней по-русски: «Фрау Хельга, поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам всего доброго и пусть душа Ваша будет согрета теплом Ваших близких!»

И тут фрау Вебер открыла глаза и сделала попытку улыбнуться. Я пожал ей руку, и она едва заметно ответила мне тем же.

Дочь стояла тоже на коленях рядом со мной и беззвучно плакала: «Ну подумай, мама, могла ли ты себе такое представить, что в твоё 95-летие тебя будут поздравлять на русском языке!», и дочь — звали её Ирмой — дважды поцеловала мать в её полузакрытые глаза.

С помощью Ирмы я осмотрел фрау Вебер, помыл руки и стал одеваться. В коридоре я задержался ещё на несколько минут, и вот что услышал.

Фрау Вебер родилась в Херсонской губернии в 1900 году. Предки её — из немецких колонистов, осевших на юге Украины ещё со времен царствования Екатерины Второй. Отец был крупным землевладельцем. Хельга ходила в немецкую школу. Наряду с другими предметами там преподавали русский язык и русскую литературу. Через всю жизнь Хельга пронесла любовь к русской поэзии. В 1917 году к власти пришли большевики. Отца расстреляли. Семья подалась на Урал. А в 1918 году им удалось через Персию бежать в Германию. Было в то время Хельге 18 лет.

Здесь, в Германии, она вышла замуж и родила трех детей. Ирма родилась последней, в сорок шестом. Что и говорить — поздняя дочь. Ирма знает по-русски только несколько слов, но с рождения запомнила русскую колыбельную, которую напевала ей мама:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

Ирма стала уже совсем большой девочкой. Но мама каждый раз, заходя вечером к дочери в спальню, садилась на краешек кровати и тихо пела:

Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

Дочь выросла, но песня продолжала жить в её памяти. Теперь, когда жизнь постепенно уходит из матери, какой-либо контакт с ней на родном языке крайне затруднителен. Но вечерами, когда мама отходит ко сну, Ирма садится в кресло поближе к ней и напевает ту же колыбельную. И лицо мамино тихо светлеет, и она умиротворенно засыпает, вложив свою руку в руку дочери.

ТЫ ПОМНИШЬ НАШИ ВСТРЕЧИ?

Как-то днём, возвращаясь с работы, я забрёл в район Кёпеника и вышел на небольшую уютную площадь, застроенную по периметру удивительно похожими друг на друга двухэтажными домами начала века. Скромный памятник в северо-западной части площади указывал на то, что в этом районе жили и действовали участники немецкого Сопротивления: Йоханн и Антон Шмаус, Эрих Яницкий, Йоханнес Штеллинг и Пауль фон Эссен. Площадь так и называется — Эссенплац. Тут же на площади находится дом, где жил антифашист. Надпись на доске гласит: *Здесь жила участник сопротивления Пауль фон Эссен. Родился 01.03.1886 в Аяленштейне, убит СА во время «Кёпеникской кровавой недели» 21.06.1933.* Посещение мною Эссенплац имело неожиданное продолжение. Месяца через полтора я заболел. Приехала «скорая» и забрала меня в больницу. Волей случая я попал в одну палату с племянником фон Эссена — Гюнтером П. В первый же день он доверительно сообщил мне, что у него рак легкого. Могучего телосложения, где-то под метр восемьдесят, Гюнтер выглядел значительно моложе своих 78-и. По ночам он тяжело дышал и надсадно кашлял. «Ты посмотри, — говорил он, обнажая один участок тела за другим, — девять осколчатых ранений. Я прошел через этот ад, остался живым, а теперь вот умираю от рака. Ну ответь мне, зачем это?» Я стараюсь перенести разговор в другую плоскость, возвращаю его к войне, к теме отцов и детей, наконец расспрашиваю о дяде. «А что дядя? Дядя погиб за идею. Был он простым лесничим, членом социал-демократической партии, антифашистом. В 1933 их группу выследили и уничтожили. Подробностей не знаю. Знаю лишь, что тело дяди зашили в мешок, привязали к нему камень и утопили в Даме (Dahme — приток Шпрее). Тётя пережила своего мужа и получала

за него пенсию, как за пострадавшего от фашизма. Дядя был не только антифашистом. он ненавидел войну. Он догадывался, что Гитлер попытается взять реванш за поражение Германии в Первой мировой войне. И оказался прав. А я, его племянник, участвовал в этой бойне — с 39-го по 45-й. С тех пор прошло больше 50 лет, а люди Земли так ничему и не научились. Каждый день где-то кого-то убивают».

Вечерами, когда смеркалось, мы часто говорили о женщинах. Спрашиваю, как это было на войне. Ведь люди годами не были дома, изголодались по женскому теплу и ласке. Не все же насильничали, были и порядочные мужчины. Или на войне, как на войне — всё спишется? «Да, конечно, — говорил Гюнтер, — некоторые вели себя отвратительно, насильовали русских девушек, но большинство немецких солдат посещало публичные дома, которые существовали, можно сказать, легально почти в каждом крупном населенном пункте. А вот проститутки были из местных. Никто их туда, между прочим, силком не затаскивал. Случались и настоящие романы. В 1943-44 годах я служил в Крыму под Бахчисараем в звании фельдфебеля и готовил к боевым действиям новобранцев. Познакомился я там с одной учительницей немецкого языка, бывшей на три года моложе меня. Звали её Ниной. Встречались мы с ней около шести месяцев, были очень привязаны друг к другу. По существу, я жил у неё. Когда русские подошли к Крыму, Нина хотела поехать со мной. Но жила она с больной матерью, которую оставить не могла. Был у Нины свой патефон. Вечерами мы пили дешёвое крымское вино, слушали русские пластинки, а иногда — пели и танцевали. Некоторые песни я помню до сих пор». Он умолк. За окном стемнело. Мы лежали молча, каждый думал о своем. Минут через десять, напрягая память, Гюнтер запел несмело на ломаном русском:

Ты помнишь наши встречи
И вчер голубой,
Взволнованные речи,
Любимый мой, родной?...

Гюнтер был старше меня на десять лет, но это

была песня и моей юности. И я подхватил мелодию. Было удивительно, что люди из разных миров, немец и русский, находившиеся во время войны по разные стороны фронта, встретились полвека спустя в берлинской больнице и, вспоминая молодость, пели один и тот же сентиментальный русский романс. Открылась дверь и щелкнул выключатель. Яркий свет нарушил наше уединение. «Что здесь происходит?» — спросила медсестра. Мы притихли. И тут я заметил на щеке соседа слезы. Я провёл в этой палате около месяца, но ни до того, ни после не видел, чтобы Гюнтер плакал. А тут на него накатило.

На-днях я позвонил бывшему соседу по палате. Автоответчик монотонно повторял, что этот номер снят с обслуживания. И я понял, что Гюнтер ушел, ушел навсегда.

ТРОЦКИСТ

Екатерине Гескиной

Крупный слепой мужчина со старческими пятнами на отполированном временем черепе. Ему восемьдесят девять, зовут Иоганн. Я — врач-эксперт, моё дело осмотреть инвалида и решить вопрос о необходимости ухода за ним. Осматривая больного, я обнаружил у него на шее небольшой шрам.

— Что это?

— Это? Это после дифтерии.

— И когда это было?

— Это случилось во время войны на фронте. В частях тогда вспыхнула эпидемия дифтерии.

— Если можно, расскажите подробнее.

— Служил я солдатом в печально знаменитой 6-ой армии, попавшей под Сталинградом в окружение. Там и заболел дифтерией. Врачам было не до меня. Они едва управлялись с ранеными. Стояли лютые морозы, температура доходила до минус сорока. Зимнее обмундирование командованием предусмотрено не

было, и сотни людей в окопах ежедневно погибали от холода. Дифтерия довела меня до изнеможения. В поисках хоть какой-то медицинской помощи я с трудом выбрался из окопа и пополз в направлении палатки с красным крестом. Из-за сильной пурги палатка временами исчезала из виду. Очень скоро я стал задыхаться и впадать в беспамятство. Сколько прошло времени — не знаю, но вдруг я расслышал, как сквозь вату, чей-то голос: «Давай что-то делать, у него дифтерия, он умирает». Очнулся в блиндаже, где было почти так же холодно, как на улице, разве что ветра не было. Дышать стало легче, но что-то мешало говорить. Меня бил озноб, и я долго не мог согреться.

Когда я окончательно пришёл в себя, санитар, сидевший неподалёку, рассказал мне о событиях минувшего дня: «Ты был совсем плох, парень, когда мы нашли тебя в небольшом овраге. Я сразу понял, что это дифтерия, и знал, что если тебе не помочь, ты умрешь от удушья. Там, в степи, мы сделали тебе операцию: нашли стреляную гильзу, выбили капсулю, перочинным ножом сделали разрез на шее, проткнули горло и в образовавшееся отверстие вставили гильзу, превращенную нами в трубку. Чтобы она не провалилась в дыхательное горло, привязали её шнурком вокруг шеи». Я хотел что-то сказать, но вместо этого услышал только хрип со свистом. «Погоди,— сказал санитар и заткнул пальцем дыру в гильзе. — Что ты хочешь сказать?» И тут я услышал свой голос: «А где же второй санитар, твой помощник?» Он ответил нехотя, после довольно продолжительной паузы: «Понимаешь, когда мы тебя тащили сюда, его настигла шальная пуля. Помочь ему уже никто не мог. Последние пятьсот метров я волок тебя сам». Тогда вокруг умирало столько людей, что я плохо соображал, что, в общем-то, произошло. Но позднее я не раз задумывался о судьбе второго санитара: ведь он мог остаться живым. Мог бы, если бы они случайно не наткнулись на меня».

Осмотр подошёл к концу. Каких-либо серьёзных заболеваний у Иоганна я не обнаружил. Захотелось просто поговорить с человеком, которому в далёком

сорок третьем два санитаря при совершенно необычных обстоятельствах спасли жизнь и который сейчас в тёмном одиночестве доживает свой век в одной из высоток Шпандау.

Наша встреча с Иоганном происходила за несколько дней до выборов в бундестаг, и я задал ему, как сейчас понимаю, довольно бестактный вопрос: «Скажите, за кого вы будете голосовать: за христианских демократов или за социалистов?» Бросив на меня недобрый взгляд, он сказал с вызовом: «Я троцкист!» И поведал мне свою историю.

Когда ему было двадцать три, его исключили из коммунистической партии Германии за троцкистские взгляды. Через год к власти пришёл Гитлер, в 1939 году Иоганн попал в концентрационный лагерь. Решив, что кормить заключённого «просто так» — дело накладное, его выпускают из лагеря и отправляют на Восточный фронт. Там он воевал, как умел. Разумеется, стрелял, и еще через два года под Сталинградом, бедолага, попадает в окружение. На сей раз он оказывается в советском лагере для военнопленных. Там, как и следовало ожидать, не мед, а каторжные работы, которые довели Иоганна до состояния крайнего истощения. В 1946 году его комиссуют и отправляют домой в Германию.

Как складывалась его жизнь в дальнейшем, не знаю. Но самое интересное, что за все эти годы он сохранил стойкость духа и свои убеждения. Я смотрел на этого кряжистого, крепко сбитого немца, как на человека из другого мира. И тут я поймал себя на том, что глазу его (осмотр свой я давно закончил, и прикосновения мои как бы вышли за рамки служебных обязанностей): «Вы уж меня извините, но я впервые в жизни вижу перед собой живого троцкиста. Для меня, прожившего большую часть своей жизни в России, слово *троцкист* было ругательным», — и продолжаю его гладить. Он не возражал, но держался с большим достоинством, так и не сказав, за кого отдаст свой голос.

Наверное, за коммунистов, решил я. Шёл к автобусной остановке и думал: «Ведь троцкизм как поли-

тическое течение оказался несостоятельным; так почему же Иоганн, прошедший через лишения гитлеровских и сталинских лагерей, сохранил свои политические убеждения до глубокой старости?»

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Рождался день, сменяя ночь,
струился светом.
Казалось, он хотел помочь,
по всем приметам.
И отключали фонари,
гасили свечи.
Улыбка угрешней зарн
шла дню навстречу.
День намечал свои штрихи,
кружился в вальсе.
Слагать задорные стихи,
поэт пытался.
И люди торопились в путь,
возможной славы.
И заслужить не что-нибудь –
почёт и лавры.
Чтоб главное не упустив,
пока не вечер,
найти естественный мотив,
добросердечья...
Возможно, в следующий день,
иная гамма:
тоска, тревога и мигрень –
его программа.

И ВЗДОХ, И КРИК, И СМЕХ, И БОЛЬ...

Вы знаете, что значит ВЗДОХ?

Воспоминания тревога.
Толчок kloкочущего слога.
Дыхания переполох...

Вы знаете, что значит КРИК?

Звук, подменяющий рыданье,
Ожогом рвущий ткань гортани,
Слова, что не сдержал язык...

Вы знаете, что значит БОЛЬ?

Внезапная потеря друга.
Напоминание недуга,
Печали горькая юдоль...

Вы знаете, что значит СМЕХ?

Иронии и мести выброс.
Разрядки оптимальный выбор.
Мгновенья призрачный успех.

И вздох, и крик, и смех, и боль
объединяются все разом
в отчаянья горчайший спазм,
теряя выдержки контроль.

* * *

Я Богу каждый день молюсь.
Я не роняю наспех фразы.
Никто меня не слышит, пусть,
Я знаю, Бог услышит сразу.

Отпустит все мои грехи
И разрешит мои сомненья.
Простит неслепые стихи
И скороспелые ршенья...

Ищу всегда достойный кров.
Пытаюсь утвердиться духом.
Прощаю всех своих врагов.
Питаюсь зрением и слухом.

SPLEEN

Ко мне ты снова прорвалась.
Без приглашенья зачастила.
Как над Самсоном страсть Даллила,
ты надо мною держишь власть.
Куда мне скрыться от тебя?
Как от тебя мне отрешиться?
Прокальываешь, словно спицей,
мне душу, горечью долбя...
И я сникаю. Впопыхах
превратности судьбы отринув,
задумчивости корчу мину,
пытаюсь схоронить свой страх.
И безразличья непокой
в лицо мне неудачей брызжет.
Он гнёт мой позвоночник ниже,
своей бессовестной рукой.

Из цикла «Берлинские этюды»

* * *

Зима в Берлине, не моя зима.
Здесь, если снег, то крайне скуп и редок.
Висит он узкой лентой, как тесьма,
отделкой белой обнажённых веток.

А уж мороз, подавно, редкий гость.
Он стёкол не касается узором.
Прозрачного ледка косая гроздь
лежит на лужах тоненьким убором.

Простоволосы люди в зимний час.
Им до зимы нет никакого дела.
И ворон не по-зимнему горласт,
и сойка по-весеннему пропела.

Немного бы метельной кутерьмы.
И холода, что вызывает слёзы.
И снежной подрумяненной зимы,
крещенских обжигающих морозов.

* * *

Шёл снег.
Не шёл – летел, спешил.
Для горожан он был подарком.
Казалось,
из последних сил
бросался он к домам и аркам.
Он всех собой хотел обнять.
Обдать дыханьем белокурым.
Он утихал.
Затем опять
всех покрывал своим гипюром.
И вроде,
нет ему конца.
Без устали он вниз стремится.
С задиристостью сорванца,
он застигает всю столицу.
Кто этот прекратит кураж?..
На город опустился вчер.
И снежный снять ажиотаж
решился для Берлина
ветер.

* * *

Памяти И.Ачильдиева

Как вышел пагим из утробы матери
своей, таким и отходит, каким пришёл,
и ничего не возьмёт от труда своего, что
мог бы понести в руке своей.

Экклесиаст, гл.5, ст.14

Отплывают люди на далёкий остров,
к потаённым странам.
Путь туда трагичен, к сожаленью, прост он,
вовсе не желанный.
Может с полдороги им ещё вернуться,
так идти негоже.
Выпить чашку чая, съесть варенья блюдце,
тост сказать хороший?
Никогда, наверно, скучную дорогу
отыскать не поздно.
Им её укажут прямо от порога
лунный свет и звёзды.

Безусловно, люди что-то позабыли
в суматохе вещей.
Все ли их сомнения здесь оставить или
взять с собою нечто?
Отпивают люди... Не берут с собою
даже грамма соли.
Оставляют память. Многое другое.
Горести и боли.
Оставляют строчку недопетой песни.
Острый запах счастья.
То, чего на свете не было чудесней, —
радости и страсти.

ЕЛЕНА ЕЩЕНКО

ВСТРЕЧА В РЕАЛЕ

Метро похоже на дом на колесах. Здесь есть постоянные жильцы и случайные посетители. Я знаю соседей по утренней электричке, помню, что длинноногая женщина читает «Моргенпост» и мажет руки ромашковым кремом прямо в вагоне, а толстяк с «Курьером» выйдет на «Дойче опер». Иногда я даже изображаю поклон знакомой старушке в пятнистой, как маскхалат, куртке. Я всегда езжу на работу в последнем вагоне, хотя пересаживаюсь на семерку на «Бисмаркштрассе», а на обратном пути сажусь в первый, чтобы оказаться ближе к выходу с платформы. Привычки делают жизнь осмысленной.

Женщина лет тридцати пяти с худенькой девочкой-подростком, которые вошли вместе со мной на «Ноллендорфплатц» в поезд 7—15, мне показались незнакомыми. Девочка сидела прямо, немного отстранившись от женщины и почти не касаясь спинки сиденья, а женщина, наклонившись в ее сторону, негромко говорила, заглядывая ей в глаза. Несколько раз она пыталась погладить девочку по руке, но та отдергивала руку и что-то коротко произносила. Женщина расстегнула молнию куртки и вдруг начала медленно клониться в сторону девочки. Все это выглядело нелепо и неожиданно в свежееотмытом вагоне с чинно читающими утренние газеты людьми. Мне показалось,

что повеяло испорченным воздухом.

Мамочка, опять, мамочка? — воскликнула порусски девочка. Локтем подпирая откинувшуюся на спинку сиденья женщину, она быстро начала вынимать из ее сумки какие-то вещи. Выудив флакончик с таблетками, достала одну, поднесла к губам женщины, та приняла таблетку губами, держа руки у горла. Девочка вернула потроха внутрь сумки, положив кошелек в карман своей куртки, повесила её на плечо вместе со своей и стала тихо что-то говорить женщине, поглаживая её колено.

Объявили «Цоо». Девочка встала, мать уцепилась одной рукой за поручень, другой обняла плечо дочери и приподнялась. Из отплывающего поезда я видела, как, разделяя поперечным своим движением людской ручеек, они медленно пошли к низким станционным лавкам.

Я повернула голову и встретила взгляд толстяка с «Курьером» в руках. Он выгнул брови почти до прозрачной растительности на голове. Прямо над его лысиной висела реклама выставки расчлененок фон Хагенса. Всадник, местами разобранный до костей, в доказательство отсутствия в человеческом теле потаенной пазухи для хранения души, держал в правой руке мозг своего разъятого букефала, а в левой — собственный, облитый пластиком. Фотография мне быстро надоела и я, избегая встретиться взглядом с толстяком, случайно посмотрела на сиденье, где только что сидели мать с дочерью. Там лежал толстый, коричневый, с истертыми сгибами конверт, каких я давно не видела. Он был сделан из грубой оберточной бумаги и открывался треугольным «языком», из-под которого были видны документы. Я имею свойство попадать в истории и помогать людям. Выходя из вагона, я все-таки забрала конверт.

День был заполнен суетой, перемежаемой формообразующими приказами шефа. Клиенты, по-весеннему нарядные, возбужденные перспективой грядущих отпусков, были щедры и сговорчивы, заказывая билеты и отели, и шеф улыбался, прощаясь со мной в конце рабочего дня. Он был приветлив, даже запирая

дверь нашего райзедбуро.

Блаженство домашнего вечернего покоя накануне вохэннда охватило меня. До зажигания оставалось еще несколько часов, а квартира уже была прибрана, еда приготовлена. Мне стало так уютно, что появился зуд на добрые дела. Я решила найти адрес или фамилию припадочной из метро. В конверте лежало несколько листов бумаги с напечатанными на них копиями компьютерных писем. Адрес был — адрес двух интернетовских почтовых ящиков. Последнее письмо было написано от руки на точно таком же листе бумаги для компьютера. По архивной привычке я разложила их по датам. Первые письма были написаны в конце апреля, а последние — в ноябре 1999 года. Рукописное письмо было без даты и координат, с пометками, и выглядело как черновик. Я тоже когда-то приходила в интернет-кафе с готовыми письмами, пока обзаводилась хозяйством.

Письмо первое:

Оля, Вы понимаете в чем трудность написания текста, который угодил бы всем? То, что будет интересно глубоко образованному человеку, будет совершенно неинтересно обычному читателю. А вот народные сказки нравятся всем. Кому не по зубам сложные категории, тот насладится внешним занимательным сюжетом. Тот, кто помудрее, сможет проникнуть поглубже и взять что-то свое.

И даже человек слабомудрый, не способный проникнуть глубже внешнего слоя, своим внутренним миром что-то глубинное все-таки словит, почувствует, что здесь все не так-то просто. Получит он какое-то неуловимое внутреннее ощущение, вроде легкой грусти, или, наоборот, непривычного покоя.

Что Вы думаете по этому поводу?

Александр.

Письмо второе:

В детстве? У меня много что запомнилось, даже и выделить особо нечего... Нравилось очень летом, лежа на чистой веранде, читать книжки по астрономии. Когда аж дыхание захватывает от астрономических

миссиибов — масс, расстояний, скоростей. Какие огромные планеты, звезды, галактики. Читаешь и сравниваешь с размерами дивана, на котором лежишь. А вечером выходить на улицу, ложиться под открытым небом и долго смотреть на какую-нибудь звезду, и воображать, что она огромная, что она далеко.

Очень нравилось наблюдать простые вещи, но в состоянии какой-то дисторсии, как на картинах модернистов.

Нравилось целый день проводить на старом заросшем озере и наблюдать, как живет всякая мелкая живность — головастики, кузнечики, стрекозы. Все казалось каким-то чудесным и разумно устроенным. Я и сейчас этого ощущения не потерял, честно говоря.

Нравилось бежать, вдыхая чистейший весенний воздух со слабеньким-слабеньким запахом лопнувших тополиных почек, коры тальника и талой воды, в гости к приятелю, и самопроизвольно подпрыгивать на ходу от какой-то внутренней животной радости.

Неприятное — это драки и бойкоты с одноклассниками. А у тебя?

Письмо третье:

Олечка, милая, что-то случилось?

Ты решила прекратить переписку?

Я буду ждать твоего письма, пока на стуле не усну.

Я так хотел поговорить с тобой! Мне ужасно одиноко без тебя. Ты вот упомянула это «лице всего боялись самовозгорания» и попала в самую точку! Знаешь, как мне было одиноко все эти годы? Когда чувствуешь, что тебя тащит куда-то совсем не туда. Что взаимопонимания нет. Что жизнь в лице близких к тебе равнодушна, что никто, понимаешь, ни единая душа тебе не близка. Что все погружены в свои сиюминутные заботы. Никто ничего вокруг себя не видит.

Я хочу сказать одно. Самое главное. Ты — это что-то потрясающее. Мне рядом с тобой хорошо и уютно. Настолько уютно, что ты для меня в одном лице все Женское — и мама, и жена, и дочь. Я люблю тебя, Оля.

За одно твое письмо душу бы сейчас продал, чемsoever! Ну, напиши мне!

Письмо четвертое:

Эх, Оля, Оля!

Как бы я хотел с тобой, молоденькой, дружить лет 10-15 назад! Как бы я хотел наблюдать, как ты развиваешься, взрослеешь, как из молодой розовой девушки превращаешься в интересную женщину! Как бы я хотел возвращаться с тобой по морозцу с вечеринки, оба в легком подпятии, и мечтать дома согреться чаем и бурными объятиями под одеялом. Чтоб ты заснула на моем плече, и я осторожно положила твою кудрявую головушку на подушку, потом любовался бы тобой, сияющей, аккуратноенько, чтоб ты не проснулась, целовал бы тебя и тоже засыпал бы, чувствуя твоё дыхание. А утром просыпался бы от твоих прикосновений и обнимал бы тебя, и гладил бы твою спину и вдыхал запах твоих волос, вымытых подаренным мною шампунем.

И будет тикворчать потом сковородка на кухне, и будет шуршать зубная щетка по чьим-то зубам. И будем сидеть за столом, потивая чаек и заедая его гренками.

И радиоточка будет тихонько напевать полонез Огинского и рассказывать про преступления американского империализма в Южной Америке. А мы будем планировать наш sereneкий короткий день. Пойти ли нам в киношку на Шахназарова или просто сидеть дома и читать книжки, иногда обсуждая что-нибудь вслух.

И впереди у нас будет длинная русская зимняя ночь, полная тепла и нежности. Вот как у нас все бы было, встретиться мы раньше. Но я думаю, у нас еще много чего хорошего случится, правда?

Письмо пятое:

Мы встретимся с тобой в аэропорту. Или в отеле, я еще точно не знаю — где. Знаю только, что настроение у меня будут приподнятое, а в руках я буду держать букет цветов. Как же я увижу Ее, мою Интернетовскую незнакомку! Но как бы я ни старался, как бы ни хотел увидеть тебя первым, как бы ни было обострено мое внимание, ты первая узнаешь меня. Подойдешь и тихо скажешь: «Саша!». Ведь женщины чув-

стывают тоньше нас... И это слово, сказанное так тихо, что услышу его только я, станет мне громом среди ясного дня, прозвучит, как первый артиллерийский залп после долгого мира. Ведь это скажет женщина, голос которой я так люблю, хотя слышал только по телефону. Мне кажется, слезы придется прятать не только нашей женской половине... А потом мы будем болтать о пустяках, привыкая друг к другу, никогда не виденным, и помогут нам в этом словечки, которые мы писали друг другу, наши общие шутки и все-все эти ласковые слова, которых мы столько сказали за эти месяцы... А потом произойдет то неизбежное счастье, о котором я мечтаю, отделенный от тебя землей и водой и всякими пограничными препонами, сочиненными людьми в довесок к естественным.

Письмо шестое:

Как бы я хотел слышать твой голос не по телефону, а прямо около уха; чтобы ты шептала что-то невразумительное, то, о чем потом случится потом вспомнить где-то в метро и очнуться, и увидеть изумленное лицо человека напротив. Как несправедливо, оказывается, все может быть устроено, — я думаю, что ты сейчас с ним, и не верю больше ни во что..., а потом какое-то упрямство просыпается во мне, и я просто лежу и представляю тебя и как все это будет у нас; ведь это совсем не то, что в юности, встречаются два щенка, и жизнь уходит на раздумья о том, правильно ли был сделан выбор.

Ты знаешь, я тоже понимаю, что нам нелегко будет с нашими близкими. Я столько лет пытался понять, почему ее интересовали все эти люди, и искал, чем виноват я. А сейчас я не ощущаю никакой своей вины.

Письмо седьмое:

У меня такое ровное, доброе чувство к тебе, слово и не произошло ничего плохого. Я просто каждую минуту помню, как я увидела тебя под этим синим человеком-рекламой около справочной на Zoo, как потом мы ехали в отель и играло «Радио классика», и таксист спросил меня, знаю ли я, что это за музыка, а я забыла, как по-немецки флейта, и так нелепо изображала ее око-

до губ, и он понял, заулыбался и спросил, любит ли мой друг Моцарта. А я хохотала и говорила, что он любит только меня, и нечего любить других, нужно слышать свою мелодию внутри себя. И как я сама потом купила цветы около входа в отель, и как долго горничная отпира- рала дверь. И я помню все-все, каждое твое слово и каж- дый свой вздох и, все равно, я счастливый человек, да? Ты, наверное, давно ящик на отбой поставил, а я суще- ствую. Это не я даже, оно само помнится и все. Жаль только, что ты так и не узнаешь, что я ... что у нас... (эта фраза была зачеркнута).

Дочитав письма, я решила написать несколько слов, пока Анька наливала вино и раскладывала халы. Но ни вечером следующего дня, ни в воскресенье мне никто не ответил. Письмо нарисовалось в моем ящи- ке недели через две, и мы встретились в «Сиднее». Я её сразу узнала, хотя она выглядела лучше, чем в про- шлый раз, — я всегда вижу наших в любой толпе, а её я запомнила. Дни были жаркие, пропахшие акация- ми, боярышником и рододендронами, странным об- разом одновременно распустившимися в этом году, и большинство людей сидело снаружи, а она притули- лась около стойки. Мы поболтали пять минут, она ждала дочь и волновалась, что растает заказанное той мороженое. Наконец отроковица пришла, потом мы долго ждали официантку и послали девочку попро- сить счет.

— Хорошо, что дети есть, самим не искать по жару, — неловко пошутила я.

— Да, — подтвердила она, глядя мимо счета, опу- стив лицо так, что его почти закрыли волосы,— хоро- шо, когда они есть.

Ты все стараешься понять.
Да, смерти неизбежна дата.
Но за кого же умирать
Должны советские солдаты
Не на своей родной земле,
Её от нечисти спасая?
...Была война —

 в огне, в золе,
и знали люди, умирая,
что кровь их пролита не зря,
и,

 на смерть став в сыром окопе,
они спасали от зверья
всех жен и матерей в Европе.
Так почему же мать свою
не должен уберечь от пули
другой солдат,

 в другом краю?
А мы на это посягнули!
Мы — русские!

 а кто нас звал
идти с огнём в чужие земли?..
И косят пули наповал
всех тех,

 кто совести не висмут.
Мать, это не тебе в упрёк.
Но ты меня пойми сначала:
твой мёртвый сын

 не одинок:
в чужих краях легко не мало.
Порой, я слышу, говорят:
— Кто будет спрашивать солдата?!
Приказ! — и в руки автомат.
Стреляй! — и рассуждать не надо...
Кого же обвинить потом?
Ответ предельно прост и ясен:
Всех! —

 кто в чужой вломился дом,
кто людям на земле опасен.
Чтоб ветку с дерева сорвать
не нужен богатырь из сказки.
А ты, поди, попробуй, мать,
хотя б согнуть сто веток в связке.
Когда вся армия поймёт
ту истину (с народом вместе) —

И
Всё-таки
Ахмадулина
Мыслит самостоятельно.
Не то,
 Чтоб из подчинения
Вырвалась окончательно.
И
 Всё-таки,
 Без сомнения,
Белла —
 самостоятельна!

*Константин
Паустовский*

Он предан был своей Мещере
В густом лесу построил дом.
Среди других, по крайней мере
Был честен, не вилял хвостом,
не становился гордо в позу.
Был, тих и скромн.
По утрам искал он
 золотую розу
и преподнёс ту розу нам.
Бродил лесной тропинкой
 с тазиком,
Малину с вишней собирал.
И умер, не пробившись
 в класски.
. . . Зато Фадеевым не стал.

*Юлиан
Семёнов*

В борьбе с капитализмом
Так устал,
 Что не заметил
Личный капитал,
Который в той борьбе
Он приобрёл.
А, впрочем,
 что ж —
Работал-то
 как вол.

И пусть на первый взгляд
Доход не чистый:
Ещё на чай
 Подбросят кагебисты.
... Мгновения,
 мгновения,
 мгновения...
не ушибиться б больно
 при падении.

*Василий
Шукшин*

В кино
 он против всех
один
 боролся за новации.
Теперь,
 те «все», кричат:
Шукшин —
 краса и гордость нации.

*Андрей
Вознесенский*

В ССП скандал вселенский —
Кажет нрав свой Вознесенский.
Бьёт в набат опричнина:
Он, мол, с нами не в ладу,
Не гудит в одну дуду,
не идёт на поводу,
К чёрту выбросил узду,
Посылает нас в
... Вот так зуботычина!

МАЛЬВИНА ЗОР

* * *

Туман и в голове, и в окнах —
Прохладная, сырая муть.
Сознанию так пужен отдых,
Но телу тяжело уснуть.

Продрогли мысли, птицы, стёкла,
И чувства мечутся впотьмах,
И вдохновение промокло,
Не в силах сделать первый взмах.

Дрожит избыточная влага
В глазах и воздухе ночном,
И хочет сердце-бедолага
В тепле забыться сладким сном...

* * *

Поверхностной меня не назови
За то, что я с улыбкой просыпаюсь,
И только радость нахожу в любви,
И что живу, почти не напрягаясь.

Легкая оксана глубина
Нас то приподымает, то глотает,
А лёгкая небес голубизна
Просторы для полётов предлагает.

И ад, в который нас печаль зовёт,
Не глубже рая, что дарует нежность.
И в безмятежном счастье познаёт
Душа свою бездонность и безбрежность.

* * *

Сомкнулись книжные ладони ---
Им нужно отдохнуть,
Уснули буквы в тихом лоне,
А я пускаюсь в путь.

Встаю. Вокруг меня постели
Уже разжалась горсть,
Слой одежд лежат на теле,
Я - их желанный гость.

Объятия дверные щедро
Приветствуют меня,
И кудри мне взбивает ветра
Лихая пятерня.

И луч уже скользит по коже,
Как добрая рука,
А в себе птицы бьют в ладоши,
Гоняя облака.

* * *

Как быстро облака бегут,
Как медленно проходит время.
Давно забыт домашний труд,
Как и положено богеме.

И жизнь течёт как в полусне,
Движения - как под водою.
Когда же ты придёшь ко мне?
И стану я опять собою,

И будет радостен уют,
И буду я мила со всеми...
Как быстро облака бегут,
Как медленно проходит время.

* * *

Несколько мужчин и женщин
Ситуацию лепили:
Лучше-хуже, больше-меньше,
Пили-ели, ели-пили.

Тихо ангелы летали
Меж теньями и телами,

Удивлялись, понимали,
Смахивали пыль крылами.

Но когда порыв извечный
Распахнул фортепиано,
Ангельский и человеческий
Дух стремительно воспрянул.

И сидели тесным кругом,
Опустив блаженно веки,
Головы склонив друг к другу
Ангелы и человеки.

* * *

...А встреч случайных не бывает,
Всё происходит на заказ,
И вот уже граница тает
Меж двух оттенков карих глаз.

Мы создаём свою реальность,
Наш собственный волшебный мир,
И признаёт материальность
Желаний — ветренный эфир.

И нет разлук случайных тоже:
Так расширяется Процесс,
Неся разгорячённой коже
Прохладных роз косою разрез:

Роз расставания в руках,
Роз поцелуев на губах.

* * *

Пылала пустота вначале,
Над городом жара плыла.
Не помню многие детали,
Но знаю - музыка была.

Над арками рояльной тени,
В мерцании прохладных пот
Лежали клавиш-ступени
И клавиш пеший переход.

И ты играл. А мне казалось,
Что ты бежишь навстречу мне,

И воплощалась небывалость,
И сердце билось всё сильнее,

Всё яростней, всё непокорней!
(Не улетишь ли нам с тобой?)
Но пальцы уж пустили корни
Меж старых клавиш мостовой...

МАРГАРИТА И^Х

ЧУРОЧКА

Я сижу подле мамы, она небрежно гладит мои волосы и болтает с подругой по телефону:

— Нет, нет, не надо. Моей страшилочке ничего не покупай, её ничего не украсит, она уродинка. Да нет, в шесть лет уже видно.

Вспомнила, как соседка на кухне говорила:

— Не повезло девочке, а ведь родители у нее вполне красивые.

Кинулась к зеркалу: «Да, некрасивая, совсем не похожа на куклу с закрывающимися глазами: у куклы платье из настоящего атласа, а у меня из серой байки в горошек и штаны такие же, а бровей совсем нет, на носу веснушки, волосы острижены, только чёлка осталась».

Спросила у бабушки:

— Бабуль, я некрасивая? Мне всегда будет плохо?

Бабушка молча подошла к шкафу, вынула книжку в потертом переплете и прочла сказку про Золушку;

— Бабуль, милая, посмотри, я вся, как Золушка, я некрасивая, меня никогда не полюбит Принц!..

— Да, пока что ты некрасивая, но Принцы таких, как ты, любят глубже, бережней, дольше, чем красавиц. Будь доброй, ласковой, помогай всем, и тебе по-

может Судьба. Судьба помогала Золушке и тебе поможет.

— Бабушка, попроси у Судьбы, чтобы в меня влюбился Принц.

— У Судьбы ничего нельзя просить, она всё решает сама, но если тебе чего-нибудь очень захочется, она поможет.

Я придумала: поеду летом к злой тётке Зинке на дачу, и буду там, как Золушка. Вымолила, выканичала у родителей эту поездку.

Место мне Зинка определила сразу: в закутке на кухне. Там на матрасике я спала, и туда тетка один раз в день приносила еду — мне и кошке, только у кошки на миске была нарисована розочка, а на моей ничего, это обижало. Моих трудов от зари до зари никто не замечал, все привыкли к тому, что я подметаю пол, пропалываю грядки, собираю яблоки.

Только один раз я убежала на стадион посмотреть, как мои кузины играют в волейбол, — меня оттуда вернули с позором. Я терпела потому, что знала: чем труднее будет, тем скорее придет Принц.

Но дождаться Принца не удалось. В какое-то воскресенье на дачу съехалось множество родственников, после обеда остатки еды тётка сгребла в ведёрко и сказала: «Это на два дня, тебе и кошке».

Цена унижения показалась слишком высокой, Принц того не стоил.

Убежала от тётки и решила стать красавицей, назло Судьбе. Я ведь уже в седьмом — пора, время пришло. После каникул явилась в класс красавицей: брови нарисованы, ресницы подкрашены, волосы ядовито-желтого цвета. В результате мальчишки, которых собиралась пленить, ржали в открытую, а из школы чуть не исключили. Родители паниковали: «В кого она такая?» Бабушка говорила: «Израстется, будет как все».

Началась двойная жизнь: днем умницей и скромницей отсиживала уроки, а вечерами отправлялась в клуб ЦДКА на танцы.

Родители смирились, поняли, что от меня легче добиться пятерки по физике, чем не пустить в клуб.

Вскоре объявился мой первый Принц. Он был Королем Джаза. В нашем регионе, объединяющем Марьину Рошу, Бутырку и Тишинку, он занимал второе место по популярности. Первое принадлежало киноактеру Петру Алейникову.

Мой первый Принц еще только начинал спиваться, был нагл, циничен, но на удивление всепонимающ. Я находилась в том счастливом состоянии, когда уже влюблена, но ещё не призналась в этом ни ему, ни себе, потому что сама до конца не поняла.

На карнавал бабушка сшила мне костюм дубка-зимника. Он сбрасывает листву только весной, а всю зиму стоит нарядный, даже отбрасывает тень.

На мне было черное трико, черный шлем, а на голове венок из сухих листиков.

Наконец-то Принц меня заметил:

— Маска, ты кто?

— Я Дубовая веточка.

— Какая ты веточка, ты чурочка. Пойдём!

Это было приглашение на танец в тогдашнем стиле.

— Я плохо танцую.

— Я тебя научу.

Вокруг засмеялись:

— Он тебя научит, он тебя многому научит.

Принц учил меня многому, но не тому, чего ожидали его друзья. Вечерами встречал у школы, провожал домой Я всю дорогу болтала, он говорил мало и тихо:

— Ещё раз появишься на танцах, будет плохо.

— Кому?

— Нам.

— Ещё раз позвонишь Мишке Новикову, получишь по шее.

Весной пригласил на рыбалку. Родителям пришлось выкатить бочку вранья. Но все-таки отпустили, боялись, что всё равно убегу.

На озере собрались его друзья, было много вина и хорошо одетых девушек. Я загрузила, он подошел, обнял, повёёл к лесу. Я подумала: у красивых девушек такое бывает каждый день. Желание в девочках про-

буждается рано, его нежность затопила меня, дыхание не хватало, казалось — разорвется сердце. Пыталась расстегнуть пуговики на блузке, он ударил по руке. Я не обиделась, спросила:

— Когда ты меня полюбил?

Он опешил:

— Как полюбил? С чего ты взяла? Тебя, такую смешную Чурочку, ещё рано любить.

— Но ты же целуешь меня.

Он засмеялся:

— Ты некрасивая. Перестань носить эти пионерские кофты, может, что-нибудь другое тебя украсит.

Больше Принц не звонил. Девчонки говорили, что он играет у Эдди Рознера. Но его наверное, скоро выгонят, он опять пьёт.

В жизни я прошла через многие потери, но хамство простить не могла никогда. Слова Принца легли в основу трагедии, которую я переживала в течение многих лет.

Бабушка:

— Ты что, до сих пор Принца любишь?

— Я не хочу его любить, я его ненавижу.

Часто любят тех, кого ненавидят. Ненавидят за то, что любят. Это трудное чувство и, как правило, длительное.

Бабушка говорила:

— Зря ты страдаешь. Из нас, некрасивых, вышли Женщины мира: великие художницы, актрисы, даже ученые, даже Моны Лизы, а из красавиц — одна Любовь Орлова.

Бабушки давно нет.

В окружении своих сверстников она лежит на Донском кладбище.

Бабушка, вернись, ты мне нужна!..

ПИСЬМО В РУМЫНИЮ

В маминой комнате звонит будильник, значит, уже семь. Через полчаса войдёт и скажет:

— Веруня, вставай скорей, а то чаю попить не успеешь.

Имя «Веруня» моей подруге Маше не нравится, в последнее время ей ничего во мне не нравится — что бы я ни говорила, всё неправильно и смешно.

Но сегодня мне так думать нельзя, училка по литературе говорила, утром надо думать только о хорошем, тогда весь день будет хорошим.

Значит, мне нельзя думать, что:

вчера Чашка ходила в театр с какой-то другой девочкой,

Юра Троценко все перемены колбасит вокруг Нинки Золоторевой из 7-го «А»,
сегодня контрольная по алгебре.

Мне надо думать, что:

на этой неделе маме, может быть, выдадут премию, тогда мы пойдем вГУМ и купим мне туфли на платформе, а если останутся деньги, то нейлоновый халатик.

Халатик повесим в ванной, все будут спрашивать:

— Вера, это твой халатик?

— Какой халатик? Ах, этот? Да так, пустяки, у нас этих халатиков полный шкаф.

Но премию маме могут не выдать, а бабушка в Ростове заболела, деньги, скорее всего, отошлём ей. Очень трудно думать о хорошем.

Вера глотнула остывший чай, напялила форму, сбегала по лестнице. Из подъезда напротив вышел Троценко с Нинкой Золоторевой. Оба сияли.

Но Вере наплевать, она должна думать о хорошем.

Сначала всё так и получилось: в 7-м Б" праздник, контрольной по алгебре не будет. Математичка Софья Ильинична, по прозвищу Синусоида, не пришла, будет свободный урок. Такие уроки тоже бывают занудные, но на них отметок в журнал не ставят, только в тетрадку, а мама в тетрадки не смотрит.

Проводить свободный урок пришла пионервожатая Таня. Напомнила, что класс готовится к вступлению в комсомол, всем необходимо воспитывать в себе разные положительные качества: честность, принципиальность и дисциплинированность, поэтому в стенах школы мальчики не должны играть в расшибалку, а девочки красить ногти и начёсывать на голове «бабетту».

Потом Таня вытряхнула из портфеля ворох красивых писем от румынских школьников, изучающих русский. Письма прислали из райкома комсомола, чтобы завязать дружбу наших с румынами.

— Тань, а о чем писать?

— Пишите, как учитесь, как отдыхаете. Но ответ должен быть готов до конца урока.

Верка выбрала письмо от мальчика Михая, а не от девочки, что тоже важно. Михай нарисовал на конверте пеструю гирлянду, Верка её вырезала и заклеила в своем дневнике все лишнее: двойку по геометрии и замечание физички. Замечание насчет черных, а не синих трусов на физкультуре оставила. Если замечаний совсем не будет, мама заинтересуется.

До конца урока оставалось тридцать минут, к письмам почти никто не приступал, все отклеивали марки и обменивались. Верка сбегала на другой конец класса к Маше, у той все было готово. Она писала, что отличница, староста класса, ходит с родителями на байдарках. Всё это было правдой, но Верка подумала: зря старается, у неё письмо от девчонки.

Троценко написал, что отличник, вчера ходил с папой на футбол, играли «Спартак — Динамо», это было враньё, никакого папы у Троценки не было, а уж отметки...

Но Юркина идея понравилась: пиши не то, что есть, а то, что хочется, чтобы было. По Юркиному при-

меру Верка написала, что она отличница, особенно любит геометрию, увлекается байдаркой и музыкой. В настоящее время разучивает на скрипке Сонату № 5 Вивальди. Есть ли у Вивальди такая соната, она толком не знала, ну да ладно. Не писать же в Румынию: «Помогите, у меня по геометрии двойка!». Перечла письмо, понравилось, собралась его сдавать, но Таня предупредила:

— Письма не заклеивайте, мы их проверим, мало ли что вы там понаписали...

Обычно в школах такие письма проверялись ещё и потому, что зачастую в них содержались несусветные просьбы: прислать жвачку, заколки, карандаши с ластиками. Письма с просьбами изымались и уничтожались. Ничего этого Верка не знала, но от мысли, что в учительской прочтут её письмо, похолодела: ведь там враньё, все будут смеяться. Мама всегда говорила: стыдно подслушивать чужие разговоры, читать чужие письма. Верка встала, проговорила дрожащим голосом:

— Порядочные люди чужих писем не читают, у нас дома так никто не делает, это не по-комсомольски! Я своё письмо не отдам, а конверт всё равно разорван.

Ребята обрадовались, ведь наврали почти все, румынские письма отдали, на Верку смотрели с благодарностью.

В учительской паника: письма надо возвращать, из райкома уже звонили. Таню срочно отправили в Институт усовершенствования учителей на консультацию. Там ничего толком не посоветовали, рекомендовали почитать Макаренко.

В конце уроков Таня вернулась в класс:

— Ладно, заклеивайте ваши письма. Я обещаю: их читать никто не будет.

Письма собрали, отнесли в учительскую, девушки-практикантки аккуратно вскрыли конверты и исправили ошибки, чтоб в райкоме не подумали, что в 204-ой школе плохо с русским.

Неделю письма валялись на столе в учительской, их читал, кто хотел.

Синусоида, как и большинство математичек, в

школьных заморочках не участвовала, была нехитрая и не очень умная. Валяются на столе вскрытые письма, вот она их и прочла.

После контрольной пришла в 7-й "Б":

— Сингерёва написала в Румынию, что она хорошо учится, это правда, у неё по контрольной пятёрка, а Зарецкая пыталась обмануть румынских школьников, написала, что отличница, а у нее двойка. Стыдно!

Верка тоже была нехитрая и не очень умная, к тому же еще наивная, она решила, что Синусоида прочла только два письма, её и Машино. Она встала и заявила, что Софья Ильинична совершила антисоветский поступок, прочла чужие письма, а поэтому должна извиниться. Если она этого не сделает, они с Машей ходить на уроки математики не будут.

Синусоида приказала Верке выйти из класса. С того времени Верка на математику не ходила, сидела в коридоре на подоконнике и читала Мопассана. Книгу держала так, чтобы все видели, какого автора она читает. Директор много раз проходил по коридору, но делал вид, что ничего не замечает. Синусоида себя виноватой не считала, извиняться не собиралась. На педсовете сказала, что натягивать отметки Зарецкой и ей подобным не будет, а если начнут давить, напишет в Министерство.

Маша тоже себя виноватой не считала, на математику ходила, а девчонкам сказала, что Верка вечно выпендривается, и она, Маша, может быть, будет дружить с девочкой из английской спецшколы.

Бедной Тане было поручено разобраться с приемом в комсомол Зарецкой. Дважды совещались, решили не принимать. Не приняли. В результате в вестибюле кто-то повесил транспарант: «Вера, мы с тобой!»

Имело это отношение к комсомолу или только к Синусоиде — неизвестно. Но парторг-химичка, давно метившая на должность директора, сочла момент подходящим, побежала докладывать обстановку в райком. Там ее выслушали, поблагодарили, сказали, что сигналы уже поступали. Предложили срочно погасить конфликт.

Гут и вызвали Верину маму. В просторном директорском кабинете за длинным столом сидели плачущая Верка и плачущая Машка, Синусоида вытирала нос платочком. Директор головы не поднимал, что-то искал в ящиках стола. Узнав, в чем дело, Веркина мама тоже заплакала. Потом все помирились. Веркина мама поцеловала Синусоиду. Директор растроганно кашлял.

Перезаменовку по всем трем математикам Синусоида Верке все-таки устроила.

Письмо Михаю отправили. В ответ он написал, что хорошо учится и ходит на рыбалку. Наверно, всё наврал.

ЛЕОНИД КАЦ

* * *

Интеллигент всегда во всём —
Пока он жизнью не научен —
Он думает о людях лучше,
Чем люди думают о нём.

* * *

Не хочу быть выпрепшим —
Есть такое чувство,
Что казаться искренним —
Тонкое искусство.

* * *

Зануду уличу я вдруг,
Используя науку:
Он генерирует вокруг
Там — вакуум, тут — скуку.

* * *

Пусть история-наука нас не обессудит,
Не сердитесь, ни любитель, ни апологет!
Вся история — о том, чего уже не будет,
И о том, чего давным-давно уж нет.

* * *

Учёные и дилстанты
Ответят, ты только спроси:
— Ещё сохранились таланты,
Не... перспились на Руси!

* * *

Игнорируем напрасно
Кратких афоризмов роль:
В чём коротких юбок соль?
Коротко и ясно!

* * *

Не та совсем уже страна,
Но, мысль здраво:
— Теперь иные времена,
Иные... правы.

* * *

Да, всем уже понять пора,
Что всё переменялось:
Что мнилось роскошью вчера,
Теперь — необходимость.

* * *

Бывает, главной целью красноречия
Совсем не впечатленья обеспечивать.
Тогда с трибуны сами долго говорим,
Чтоб невозможно было говорить другим.

* * *

Насилия формы различны,
С двумя из них каждый знаком:
Одна, очевидно, Приличия,
Другая, возможно, Закон.

* * *

Я уверен, что неправ ты,
Мифы детства позабыв,
Потому что каждый миф —
Лишь одна из версий правды.

* * *

К чему нам все широты мира?
Нам перспективы не ясны...
Зачем нам мир? Нам не до жира,
Коль туфли на ногах тесны!

* * *

Сопли и капли проникли в спектакли,
Мокли от слез и партер, и балкон,
Сильные возгласы никли и чахли,
В буклях дублёры пошли на поклон.

* * *

Я хотел бы век прожить,
К смерти исподволь готовясь,
Но всегда счастливым быть
Мне не позволяет совесть.

ЛЕОНИД ЛЕЙКАХ

БЛАГОТВОРНЫЕ РАДОНОВЫЕ ВАННЫ В ЦХАЛТУБО

Мне нужно было срочно слинять из Москвы. Угрожало совсем ненужное в то время посещение ЗАГСа с особой, интерес к которой был, увы, полностью утерян. Я напросился в командировку — в Грузию на Кутаисский автозавод. Со мной направили совсем еще юного парнишку — только из техникума — Славу Белоусова. Принимали нас заводчане радушно. Секрет радушия раскрылся скоро: каждый неизменно спрашивал нас:

— Хороши дэвушки в Москве знакомые ест? Хата ест? Приеду — познакомишь?

Мы щедро раздавали обещания. Между тем, работа шла тяжело. Дело в том, что во всех службах постоянно кто-нибудь делился сексуальными впечатлениями. Усевшись в центре бюро верхом на стуле, очередной рассказчик в лицах представлял сцены, которые пережил в значных местах. Остальные присутствующие с горящими глазами внимали, явно мысленно соучаствуя.

Попытки привлечь их внимание к проблемам новой техники разбивались о стену, ограждавшую любвеобильный мир. Мы просто путались под ногами занятых людей. Они искренне удивлялись, почему мы

не занимаемся тем же самым — делом естественным, полезным для тела и души.

Однажды начальник цеха, потеряв терпение от наших приставаний, сказал с намёком:

— Поезжайте, ребята, пока ми заняты, в Цхалтубо. Там радоновые ванны очень помогают по мужскому делу, и по женскому тоже. Былаготворно! Пачэму, думаете, грузины такие молодцы? Радон тут везде.

— Да кто нас пустит в эти ванны?

— Зачем обязательно в ванны. Возле ест речка, по которой радоновая вода течет. В ней два озера, одно для мужчин, другое для женщин. Купаться надо совсем голые, чтоб радон до всех ваших мест дошел. Только вы на наших грузинских женщин, когда купаются, не смотрите. Наши женщины это очень, очень не любят.

— Зачем это нам? — заверили мы. — У нас своих хватает.

И мы двинулись в путь. Впереди был день курортной жизни, многообещающих радоновых ванн, а, может быть, после, и романтических знакомств с курортницами, уже отведавшими радона. На рассвете оказались в Цхалтубо. Улицы были еще безлюдны. По указателям мы нашли ванное заведение и увидели ручеек. Пройдя вдоль него, оказались возле большого бочажка и утоптанной площадки возле. И бочажок, и площадка были окружены густой буйной растительностью. Мы решили, что купание происходит именно здесь, и, обнаружив в кустах у кирпичной стены деревянный топчан, расположились позавтракать. Запив завтрак пивом, постелили газеты, залезли от слепящего рассветного солнца под топчан, накрылись газетами и сладко заснули.

Проснулся я вскоре от какого-то гомона. Высунув голову из-под топчана, я увидел... скопище полуобнаженных и совсем обнаженных женщин всевозможных возрастов и комплекций. Одни раздевались перед погружением в радоновый резервуар. Другие выбирались из воды, стыдливо прикрываясь ладошкой, как Венера на картине Боттичелли. Бочажок был усе-

ли торчащими из воды женскими головами. Все они громко переговаривались по-грузински, не оставляя сомнения в том, что мы всё-таки попали на интимные гомофины грузинских женщин, о чём нас строго предупреджали. Я растолкал Славку. У него отвисла челюсть.

— Рвём когти,— прошептал он.

Но «рвать когти» было некуда. Выход был завешан какой-то попоной. Мы забились поглубже под топчан и после короткого совещания решили, что ничего не остается, как переждать все это.

Сцена, открывавшаяся перед нами, являла что-то похожее на известную картину художника Иванова «Явление Христа народу» и одновременно на картину Рубенса. Не скажу, что картины оставляли нас безучастными. Все это было, как окно в неопишувемый, псевданный волшебный мир. Через пару часов, однако, непрерывный спектакль, в котором мы были, увы, только зрителями, стал надоедать. Хотелось перекусить, да и утренний туалет выполнить не было возможности, а это мешало спокойно наслаждаться уникальным тогда зрелищем. Но выхода мы не видели. Возможно, это было малодушием, но посмотрел бы я, как поступили бы вы на нашем месте.

Тут ситуация изменилась. Одна из обнаженных дам добежала до наших кустов, прежде чем убрать ладошку, подозрительно, огляделась и... обнаружила нас. Отбежав, она издала вопль такой мощи звучания, такого богатого тембра, что я совсем отключился — в этой стране благотворного действия радона единственным оружием защиты женщин могли служить соответствующие по силе и выразительности вопли. Всё пришло в движение. Женщины судорожно облачались. Топчан был окружен злобствующими фуриями, которые что-то яростно кричали по-грузински. Смысл был ясен и без переводчика: «Выходи, подлый трус!» В ответ мы еще плотнее прижались к стене. Тут у одной из фурий оказался в руках длинный дрын, которым она тут же со сноровкой прирожденной горячки стала тыкать в меня, стараясь попасть в глаз. Еще одна клюкой ловко метила в другие болевые мес-

та. Одна из молодых придумала следующее: она вырывала из какой-то книжки страницы, поджигала их зажигалкой и кидала под топчан. У нее появились многочисленные помощницы. Вскоре занялись газеты, сухая трава, и мы начали гореть под радостные клики торжествующих мегер. Вывать о помощи было бесполезно, за криками грузинок никто бы нас не услышал. Но и вылезать мешал ужас попасть в руки озверевших фурий — уж лучше было в Москве идти в ЗАГС. Оставалось только с честью принять безвременную кончину в огне. И за что? Добро бы за идею, как Бруно или Жанна д'Арк. Но выбора не было. Тот, кто никогда не горел в буквальном смысле под восторженные женские вопли, и представить не может наше состояние. (Впоследствии я не раз «горел», но было легче — тот случай выработал у меня как бы иммунитет.)

И тут явилось чудо... в образе двух милиционеров. Один непрерывно свистел и, размахивая руками, отгонял женщин. Другой, нагнувшись, сквозь пламя ласково манил нас пальцем. С трудом сообщая мы загасили огонь и выползли наружу. Страстно хотелось в туалет.

— Кто такие? Документ есть?

Мы трясущимися руками вытащили паспорта и командировочные удостоверения.

— Зачем вы это делали?

Мы наперебой стали объяснять как все произошло — совершенно непредумышленно.

— Пьяные были, что ли?

— Да, да! — обрадовались мы, — совершенно пьяные, ничего не видели.

И для убедительности показывали пивные бутылки.

— Пошли, — сказал милиционер.

— Куда? Зачем?

— В милицию. По статье — нарушение общественного порядка в нетрезвом виде!

Возражать не было сил. Главным было желание поскорее попасть в туалет.

Нас вели по мостовой меж двух милиционеров в

попущен «руки за спину», как бандитов в фильмах. Сзади тянулся хвост фурий. Прохожие останавливались и глядели нам вслед.

Дежурный лейтенант с интересом выслушал доклад милиционера, затем впустил двух фурий. Те сначала решили, что им разрешили расправу, и кинулись к нам, — их вежливо оттеснили к барьеру. Они долго кричали, показывая пальцами то на нас, то на небо. Лейтенант всё аккуратно записывал. Потом фурий все-таки оттеснили на улицу.

По указу о мелком хулиганстве — пятнадцать суток лишения свободы с использованием на работах по уборке улиц, — довольным голосом произнес лейтенант. — Распишитесь в протоколе.

Перспектива влачиться по курортным улицам с пенниками, когда нам нужно заканчивать новую технику, показалась мне много хуже сожжения, — там хоть не было бы последствий. Мы стали протестовать:

— Не имеете права без решения суда!

— Ви не волнуйтесь, — обратил к нам свои ладони лейтенант, — горсовет дал указания улицы чистить, а кто будет чистить? Сейчас смена придет, кушать будем.

Вбежал мужик в грязном белом переднике. Лейтенант показал ему на меня со Славкой. Мужик с любопытством оглядел нас и убежал.

— Идите, мойтесь, — скачал лейтенант, — сейчас обед принесут.

В туалете было зеркало. Оно отразило нечто ужасное: рожи в саже и ожогах, обгорелая одежда...

Пришел духанщик, неся на голове поднос. Перед каждым поставил на стол миски с зеленью, лоби, лаванем и каким-то мясным варевом, издававшим аппетитнейший запах. И ... две бутылки вина! Лейтенант разлил по стаканам, поднялся и со вкусом произнес:

— Дорогие москвичи! Дорогие гости! Выпьем за то, чтобы вы честным трудом на нашей прекрасной земле искупили свою вину и уехали с чистой совестью.

Мы мрачно выпили и молча приступили к еде. Я заинтересовался, сколько платить. Лейтенант успокоил: по закону платить сейчас не надо, счет пошлют

вместе с протоколом на работу, а у нас потом вычтут. Аппетит тут же пропал. Впереди, оказывается, нас ожидала позорная разборка на работе и дома. Каких масштабов она достигнет, как долго мы будем мишеньями самых уморительных анекдотов? Нет! Лучше было сгореть или даже жениться.

Однако после обеда с вином мы несколько расслабились, положение стало казаться не таким уж отчаянным. Завязался разговор, мы спросили, почему мегеры так злобствовали.

— Они все деревенские, они рано утром купаются. Они все тёмные. Они так думают: если чужой мужчина их без штанов увидит — может испортить. Что-бы этого не было — убить его нужно или глаз выколоть.

— Могли убить?

— Вполне могли, — успокоил лейтенант, — у нас много убивают, коллективно, спросить не с кого. В прошлом году деревенские женщины на Риони шерстьмили, положили сушить, сели отдыхать. Шли два русских мужика, как вы, совсем пьяные, взяли один моток. Женщины все видели, одного поймали, головой в Риони засунули, немного подержали. Когда витали — он уже мертвый. Я на следствие выезжал. Они говорят: ми не виноваты, ми хотели испугать немного, чтобы больше не воровал. Что било делить? Пришлось несчастий случай оформить. И вас бы оформил.

— Как несчастный случай?

— Может, как счастливый случай, — пошутил лейтенант. — Конечно, жалко, но по долгу службы жалеть не можем. Ви зачем пьете водку, если пить совсем не умеете?

— Вам нас не жалко, — со скорбью сказал я, — а вот нам одного хорошего человека жалко. Обещали ему в Москве хату сделать, с девушками познакомить, а теперь? Уедет в Москву без нас. Он за что пострадает?

— Кто такой человек? — поинтересовался лейтенант.

— Главный технолог корпуса, Гамчахелия Гиви.

— Такой худой будит, с золотой фиксой?

— Он самый.

— Я его знаю,— печально произнес лейтенант, у него брат Вахтанг — гаишник в Гори.

— Это подлость к человеку будит! — внезапно испорвался Славка, перейдя на кавказский выговор. — Что он будит теперь в Москве делать?

— Да-а-а, теперь неизвестно что будит делать...

— Обидится теперь на нас. И брат, гаишник, обидится.

— Может сильно обидится, — совсем загрустил лейтенант.

Все погрузились в трагическое молчание.

— Слуши! — пригнулся он вдруг ко мне. — Я в Москву приеду — мне хату, девушек устроишь?

— Какой разговор, — обрадовался я. — Что хочешь — всё сделаем!

— Тогда лучи тихонько уматывайте. Еще неприятности у меня с вами будут. Только другой улицей бегите. Осторожно! Эти женщины теперь домой едут могут поймать.

Лейтенант отдал документы и вывел нас на улицу — засады не было. Всю дорогу до вокзала мы попеременно переходили с бега трусцой на спортивную ходьбу. В загаженном туалете дождались прихода поезда.

Утром начальник цеха спросил:

— В Цхалтубо били, родон приняли?

— Приняли, очень много приняли! — ответили мы.

— Благатворное действие оказало?

— Оказало, еще как оказало!

— Ну вот, теперь гуляйте.

По гулять по Грузии уже почему-то не хотелось. И мы рванули домой, в Москву, не закончив работу.

Вся эта история оставила, по-видимому, глубокий след в моей психике. Прошло с тех пор много лет. Появились нудистские пляжи, сауны, совместные деревенские бани, групповой секс. Но никогда желания оказаться среди обилия обнажённых женских тел у меня почему-то не возникало.

Как у Славки — не знаю.

СЕМЁН ДУРЬЕ

ЭЛЕГИЯ

Белле

На грани осени и лета,
в просвете между двух времён,
ласкались дни теплом и светом,
царил в душе мажорный тон.
И обдувал приятый ветер
нас благодатною порой,
и не испугнул пришедший вечер
с непредсказуемой зарёй.
Свой вечер мы перешагнули,
чтоб продолжать дальнейший путь.
В пути нас миновали бури,
и в этом истинная суть.
В сердцах живут воспоминанья
о смысле жизни и судьбе,
о встречах и о расставацях,
и о сомненьях, и мольбе.
Настанет время, наши дети
и внуки помянут о нас,
что жили в прошлом предки эти
и повстречались в добрый час.
Мечтой единою согреты
с тобой, по прежнему, вдвоём,
на грани осени и лета
мы не тоскуем о былом.

МОЯ КОСТРОМА

Афанасьевский порт небогат.
Колокольня на церкви. Тюрьма.
Рядом с портом, как говорят,
рыбный город живёт — Кострома.

Материнский там прячется след,
здесь пришлось моей матери жить.
Жаль, не смог я сыновний букет
на могилу её положить.

Я старинную чту Кострому.
Для меня она вся, как семья.
Я признаюсь себе самому,
что она воспитала меня.

Не нуждаются чувства в словах.
Хватит им выражения глаз.
Вспышки прежнего в наших сердцах
отражаются факелом в нас.

Что сближает меня с Костромой?
Разыскать моей матери след.
Часто тянет вернуться домой —
положить на могилу букет.

ПЕСНЯ О ЧАСАХ

Носифу Малкиелю.

Мне с этими часами повезло.
К грядущему закату нашей жизни
мы вместе прошагали по Отчизне
полвека, всем врагам своим назло.

Нас вместе, как единый организм,
невидимые связывают нити.
Мельканье эпизодов и событий,
совместный наш заводит механизм.

С собой в Германию часы я взял,
берёт их, как Кремлёвские куранты.
Они, по праву, тоже эмигранты,
да жаль, не получают «социал».

Теперь они немного отстают.
Гляжу на них и думаю неволью
о том, что мне совсем не станет больно,
когда меня они переживут.

КАРУСЕЛЬ

Мине Полянской

Нас кружит карусель.
Круг несёмся за кругом
Лишь азарт нетерпенья на нашем лице.
Это блажь. Это цель.
Не догнать нам друг друга —
расставание нас ожидает в конце...

Нам бы только понять
улетевшие годы,
вопреки обстоятельствам в личной судьбе.
И друг друга унять
на краю непогоды —
это стало б наградой и мне, и тебе...

Подводить нам пора,
как ни грустно, итоги.
И не верится, вовсе, что здесь, на краю,
терпеливо стою
на последнем пороге,
перед тем, как сойти на свободу мою...

Но манит карусель
мчаться замкнутым кругом.
И притом сохранять подобающий тон.
Это блажь. Это цель:
поспевать друг за другом,
чтобы не опоздать в наш последний вагон.

УХОДЯЩЕЕ ЛЕТО

Последние дни уходящего лета
всю прелесть дарят, расставаясь со мной.
И я вспоминаю, когда-то и где-то,
вот так же прощался с далёкой весной.

Обычно теперь я, за долгие годы
с тревогою жду предосенние дни.
Как будто навеки прощаюсь с природой,
как будто остались мгновенья одни.

Припев:

Есть что-то общее с весною
в тех уходящих летних днях,
когда, покончив с суетою,
забуду я о пустяках.

Тревожные мысли на время отбросив,
я пробую вспять повернуть календарь:
опять я вхожу в свою школьную осень,
читаю построчно свой старый букварь.

Кончается лето, но этими днями
оно пробудило надежду во мне.
Не знаю, как выразить это словами.
Желанье возникло запеть о весне.

Припев:

Есть что-то общее с весною
в тех уходящих летних днях,
когда, покончив с суетою,
забуду я о пустяках.

ТАЙНИК ДУШИ

Анжеле Подольской

Загляни, попробуй, в душу,
Достучись-ка до души,
Нелегко доплыть до суши,
Хоть всё море осуши.

Там зарыт тайник глубоко
И таинственен в нём клад.
Ты в потёмках. Одиноко
Бродишь много лет подряд.

Все восторги и печали —
Лабиринт души людской,
Как тяжёлые скрижали
Тонут в суете мирской.

Долго ли душе быть тайной,
Сколько дней и сколько лет.
Всё зависит от случайной
Встречи, вдруг пролившей свет.

Вот тогда и сбросит маску
Сокровенная душа,
Чтоб легко и без опаски
Сделать выбор не спеша.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ОТКРЫВАЮЩАЯ ОКНО

Помнит ли кто ещё чёрные репродукторы военной поры? Помнит ли кто ещё эвакуированных из Ленинграда с их тощими глазастыми детьми?

* * *

Пятилетняя Гелька сидела дома одна. Небо играло громадами туч и грохотало так, будто канонады всех фронтов сгустились в этих тучах над уральской железнодорожной станцией. Окна домов были плотно закрыты, и только Гелька влезла на подоконник распахнутого окна и смотрела в небо. Она любила грозу. Тяжёлые капли быстро наполняли согнутую лодочкой ладошку. Весёлый ужас покалывал всё тело. Молнии вырастали мгновенными угловатыми деревьями. После каждой Гелька выжидала некоторое время и взмахивала рукой. Сразу же раздавался страшный треск и запоздало урчал гром. Где бы ни высветилась молния, Гелька угадывала миг звучания. Получалось, будто она дирижировала грозой.

Весь дирижёр состоял из палочек рук и ног, худенького тельца и остриженной головы с большими зеленовато-карими глазами. Рот был стянут в едва заметную точку.

Гроза усиливалась. Гелька вдруг спрыгнула с подоконника, сняла с гвоздя репродуктор и стала его

разбирать. Её тоненькие пальчики действовали с неожиданной сноровкой. Она торопилась, но все винтики разложила в определённом порядке, чтобы ни один не закатился куда-нибудь, как это уже было однажды. Не в первый раз играла она этой непонятной вещью. Почему оттуда звучали известия с фронта и музыка? Геля иногда разбирала и собирала нехитрое устройство, пытаясь понять, как оно работает.

Чёрная туча встала над домом. Гелька вытянула из репродуктора плоский резиновый круг, положила его себе на голову, снова взобралась на подоконник и вскинула обе руки, как это делает дирижёр перед финальным аккордом. Тотчас возникла молния одновременно с громом. Нет, это была не молния, а какой-то луч света, который сосредоточился вокруг девочки в нестерпимо яркое яйцо, внутри которого темнела её фигурка с поднятыми руками. Наконец, она уронила руки. Странное свечение исчезло. Гроза прекратилась.

Старик из дома напротив, увидев эту сцену, быстро-быстро перекрестился. Опомившись, кинулся через дорогу, вбежал в узкую комнату, где девочка жила с матерью. По бокам стола теснились два топчана. Между ними на полу лежала девочка. Старик поднял её, положил на топчан, убедился, что она спокойно спит – щёки порозовели, точка рта разжалась в улыбку. На всякий случай старик перекрестил Гельку, хотя и знал, что она из еврейской семьи.

Они были, как говаривали на Урале, «выковыренные» из Ленинграда. Однажды, ужаснувшись неправдоподобной худобе девочки, старик сказал, чтобы она заходила к нему через день – давал ей полкружки козьего молока. А после того, как она сбила о камень ноготь на ноге и, зажав кровоточивший палец листом подорожника, молча прыгала на одной ноге, скорчившись от боли, он сплёл ей лапти. Это были самые крохотные лапотки из всех, что ему доводилось плести.

Гелька спала долго, но к мамину приходу уже проснулась. Мама стянула с головы берет и привычно-безнадёжно спросила:

— Писем нет?

— Нет, но ты не плачь. Завтра придёт сразу девять писем от папы.

— Сразу девять? Вот выдумщица!

— Ничего я не выдумала. Я такой сон видела, теперь всё наперёд знаю.

Мать поцеловала девочку, но, увидев разобранное радио, нахмурилась. Гелька соскочила с топчана и принялась за сборку. Женщина высоко подняла брови, когда через несколько минут всё было в порядке, несмело воткнула штепсель в розетку и приникла к чёрному раструбу, услышав ликование в голосе Левитина: «Наши войска освободили...»

Гелька побежала на улицу шлёпать ногами по лужам, а мама осталась мыть картофельную кожуру к ужину.

На следующий день почтальонка принесла девять фронтowych писем-треугольников. Гелька их не разворачивала, она умела читать только по-печатному, а нашпи почерк не разбирала. Она складывала из треугольников домики и катала между ними стеклянный шарик, внутри которого переливались свёрнутые в спирали разноцветные искрящиеся нити. Шарик помылся после той грозы. Геля вдруг проснулась на полу, увидела что-то светящееся у самого лица, накрыла рукой и спала дальше, не выпуская шарик из кулачка. Нирушек у неё не было, и она обрадовалась находке.

Вернувшись с работы мать схватила письма, прижала к лицу. Два письма упали, Гелька их развернула и подала маме. Та читала и плакала, а Гелька стягивала с её головы берет и ни о чём не спрашивала. Она знала, что папа жив. Мама стала зачитывать ей куски из писем, всхлипывая от счастья. Папа писал, что у него много еды, но кусок в горло не лезет при мысли о том, как они голодают в эвакуации. Гелька на это басовито заметила:

— У нас тоже завтра будет еда.

Мама посмотрела на неё с тревогой и надеждой.

Назавтра принесли посылку от отца. Там были кое-какие вещи, и мать сразу же сменяла их на хлеб. Ещё там был флакончик, плотно заткнутый фигурной пробкой, но пустой, и шоколад, весь пропахший ду-

хами. Гелька ела хлеб с душистым шоколадом, а мама тревожно выпытывала:

— Почему ты заранее знаешь, что будет? Объясни мне.

— Потому что мне снился сон. Я же тебе говорила. Приедет папа и мы будем жить там, где много огромной красивой воды.

— Не понимаю, что за вода такая? И где ты взяла этот шарик?

— Нашла.

* * *

Всё сложилось так, как предсказала Геля. Отец вернулся с войны, став кадровым военным. Его назначили в Таврический округ. В Крыму девочка впервые увидела море наяву. Оно потрясло её больше, чем огромная красивая вода во сне. Она долго стояла на скале и слушала, и смотрела, как разбиваются волны. Перед сном сказала отцу:

— Завтра я поплыву далеко.

— Но ты ведь не умеешь плавать...

* * *

Сразу после войны пляжи Крыма были безлюдными даже летом.

В тот день на диком пляже под Алуштой был, кроме Гели, только одорукий художник с мольбертом.

Девочка вошла в воду, ловко ступая по гладким спинкам крупных галечных камней. Волна тут же выбросила её на берег. Тогда она взяла тяжёлый камень и пошла в воду, поднимая его над головой. Волна не сбила девочку, а плавно накрыла, окружив растворёнными в воде солнечными лучами. Геля стояла у крутого спуска в глубину. Вода колыхала её отросшие прямые тёмные волосы.

Художник, заметивший, как скрылась в воде худенькая фигурка, забеспокоился. Девочка не появлялась слишком долго. Он оставил кисть, поднялся. Левый рукав гимнастёрки был заложен за пояс. Не раздеваясь художник вошёл в волны по грудь, оступаясь на скользких камнях, и, погрузив лицо в воду, осмот-

релся. Девочка стояла чуть впереди. На её плечах играли солнечные блики, но сама она была неподвижна. Художник протянул руку и зажал в пальцах прядь её волос. Она вдруг обернулась. Он испуганно разжал пальцы. Она вышла на берег, отбросила пряди с лица и спокойно спросила:

— Зачем вы дёрнули меня за волосы?

— Я подумал, что ты утонула.

— Нет, просто гуляла в море.

— А как же ты дышишь под водой?

— А зачем там дышать?

Он отпрянул от странной девочки, поскользнулся и упал, ударив безрукое плечо. Поморщился от боли. Поднялся на ноги. Гелька подошла и погладила пустой рукав. Боль исчезла.

— Давай, я тебя нарисую. Сядь вот здесь, пожалуйста. Вот так — он усадил Гельку на выступ скалы, спиной к морю. С волос её стекали капли. Глазища смотрели с любопытством. Начал набрасывать портрет. Худенькие плечики, поворот головы, волосы — всё получалось. Наметил глаза, и ему показалось, что они мерцают в такт прибою. И так же неумовимо менялось выражение лица. Он устал.

— Давай завтра, в это же время. Придешь?

— Приду.

Девочка спрыгнула с камня, вошла в затихшее море и поплыла так мягко, что вода вокруг неё осталась спокойной.

Назавтра портрет опять не удавался. Художник подошёл к терпеливо позировавшей девочке, приподнял ей голову, посмотрел в глаза:

— Как ты можешь так долго не дышать под водой?

— Ну, вроде бы окно открывается, а там... Там светло, и будто музыка тихая... Там хорошо. И есть не хочется.

— А здесь хочется?

— Здесь я всегда голодная, хоть папа всю свою еду нам с мамой отдаёт.

Художник порылся в сумке и протянул девочке большой чёрный сухарь.

— Спасибо. Сухари люблю. Их долго сосать можно.

— Ешь на здоровье... А знаешь, мне тебя не нарисовать. Это только настоящий мастер сумел бы, а я — недоучка, да и левша к тому же, а рука только правая осталась.

— Ничего, вы будете хорошо рисовать. Ну, я пойду?

— Да, иди. Спасибо тебе. Спасибо, маленькая!

Она шла вдоль берега, не оглядываясь, а он поднёс руку к горлу, не понимая, почему там образовался комок.

* * *

Отец, приехав с войны бравым майором, старался подкормить дочь и жену, и за год сильно потерял в весе. Но дочь так и росла худышкой. Летом у моря она бегала в трусиках, загорелая, как чертёнок. Заплывала она слишком далеко, но не это тревожило родителей. Девочка была странной. В играх её слушались даже старшие мальчики, а злющие псы из фруктовых садов частников превращались рядом с ней в улыбочивых щенят. Она часто смеялась, но глаза оставались грустными. Может, это и создавало необычное впечатление? К тому же эти сны...

Училась она прекрасно, несмотря на то, что приходилось часто менять школы, так как отца перевели сперва в Уссурийский край, а затем на Южный Сахалин. Семья поселилась в японском домике с бумажными раздвижными внутренними стенками. В изящном деревянном шкафчике с дверцами-ширмочками сидел, скрестив ноги, бронзовый Будда. Геля садилась против него в такой же позе, и они смотрели друг на друга с одинаково отрешёнными лицами.

— Опять ты сидишь с этим истуканом, — недовольно выговаривала мать.

— Не сижу, а гуляю там, за ним, в другом мире.

— Ну что это за «другой мир», объясни мне толком.

— Я уже рассказывала. Будто открываешь окно, а там свет особенный и музыка.

- Лучше бы гуляла больше с подружками.

- Мне скучно, они мне не верят, смеются. Вот если разрешишь, я пойду в поход.

— Иди-иди. Уж лучше в поход...

С учителем физкультуры в поход отправились двенадцать семиклассников. Они шли заброшенной японской горной тропой через перевал к Синегорску. Чем выше поднимались, тем всё более сыро становилось на тропе. Заросли тростника сменились мачтовыми соснами, многие из них были повалены, сгнили. Ноги проваливались в сырую труху. Учитель рассчитывал неветло дойти до Синегорска, но стало темнеть, а огни шахтёрского городка не приближались. Все уснули. Неутомимой была только Гелька. Учитель видел, как она, взяв рюкзак у одной из девочек и ведро у рослого мальчика, шла, навьюченная выше головы, но совершенно легко ступая. Он вспомнил, как не хотел брать в поход такую слабенькую на вид девочку, но она посмотрела ему в глаза, и он почему-то согласился.

Вдруг упала та девочка, у которой Геля взяла рюкзак. Учитель приподнял её, но она была не в силах встать. Гелька порекомендовала своим низким голосом:

- Покормите её. Сердце проголодалось, — и протянула консервированный компот, ловко выудив банку из рюкзака. Учитель вскрыл банку и стал с ложки кормить больную. Когда исчез весь компот, она открыла глаза.

- Хорошо бы всем поесть, — предложила Гелька.

- Нет, надо скорее добраться до города. Может быть ливень.

И они пошли снова, без привала. Однако дождь опередил их и быстро превратился в опасный на горной дороге ливень. Стало темно. Глинистые потоки стивали ребят с ног. Учитель растерялся, девочки заплакали, но только не Гелька. Она крикнула:

— Держитесь за деревья! Идите на мой голос, ближе! Теперь все смотрите направо, там будет такое... ну, окно, и мы туда войдём.

Учитель держался обеими руками за мокрый ствол и ему было страшно. И эта странная девочка его пугала. Какое окно? О чём она?!

— Вам не войти туда, — крикнула ему Гелька. — Мы вернёмся, ждите.

Рядом с каждым из детей открылся какой-то светлый проём...

Утром солнечный луч пробился сквозь ветви и коснулся лица учителя, скорчившегося под деревом, где он провёл жуткую ночь. Зато дети были полны бодрости.

После благополучно законченного похода физкультурник старался не смотреть в глаза странной семиклассницы.

* * *

Десятый класс Гелька заканчивала в Ленинграде, куда вернулась семья после демобилизации отца. В школе математик сетовал на отсутствие среди отметок достаточно высоких, какие он хотел бы ставить Геле за решение задач по стереометрии.

Да и по другим предметам проблем не было, кроме физики. Физичка, она же и классная руководительница, была недовольна тем, что Гелька странно решала некоторые задачи. Правда, ответы сходились с теми, что были в задачнике, но ученица писала ещё какие-то дополнительные ответы.

— Что это за решение? Откуда эта цифра после верного ответа?

— Это ещё один вариант.

— Что за вариант?! Не забывай, что ты в выпускном классе. Тебе не поставят отличную оценку на экзамене за такую работу.

— Мне не нужна отличная оценка. Второе решение возможно в ином..., в иных условиях, когда...

— Никаких иных условий!

Гелька пожимала плечами и смотрела в окно.

На экзамене она выдала всё же два варианта решения. Физичка горестно качала головой — ей так хотелось, чтобы первая за долгие годы золотая медальюшка школы появилась именно в её классе. Сторон-

иний член экзаменационной комиссии заинтересованно рассматривал листок с решениями и вдруг поставил «Отлично». Золотая медаль не ушла из класса!

Отец спросил Гельку:

— Почему ты не радуешься медали?

— Из-за неё мне придётся идти в институт, а я не хочу.

— Почему? Ведь без экзаменов. Не трудно.

— Мне и с экзаменами не трудно, но я совсем не хочу в институт.

— А что ты собираешься делать?

— Не знаю.

— Нет, это никуда не годится. Изволь выбрать дорогу и идти по ней. Всё у тебя не как у людей. И друзей у тебя нет, почему?

Гелька, глядя на сжатые пальцы своей руки, неожиданно продекламировала:

Вы знаете, меня не любят,
меня боятся, как чумной.
Нигде меня не приглубят,
никто не водится со мной.
Я будто бы с другой планеты,
я будто здесь на пять минут,
и есть миры иные где-то,
они зовут меня и ждуг...

— Опять ты с этими иными мирами! — разволновался отец, хотел ещё что-то сказать, но понял, что дочь не слышит его. Она разжала пальцы. В ямке ладони уютно примостился шарик с искристыми спиральями. Отец махнул рукой и вышел из комнаты.

* * *

Геля всё смотрела на шарик. Она уже давно поняла, что он не стеклянный. Ещё в детстве попыталась она разбить его камнем, чтобы выяснить устройство спиралей, но на поверхности не осталось даже следа от ударов. Она помнила, как появился шарик после той грозы, когда ей словно приказано было кем-то разобрать радио и защитить голову резиновым кругом. Помнила она и то особое ощущение упругого поля, которое возникало у неё, когда она крепко сжимала шарик в кулаке. Поле пульсировало. Эта пуль-

сация пронизывала всё тело и тогда появлялся светлый проём, куда её затягивала мягкая незримая сила. Иногда Гелька пыталась противиться этой силе, тогда окно исчезало. Обычно же она охотно поддавалась и попадала в светлое пространство, наполненное спокойным звучанием. Она переставала чувствовать своё тело и растворялась в каком-то ином мире, ощущая слитые воедино покой и стремительное вращение. После этого ей снились сны с событиями будущего.

Иногда Геля пыталась взять с собой маму, но это ни разу не удалось. Туда могла попадать лишь она одна, за исключением двух случаев. Первый был с отцом во время войны, когда Гелька проснулась ночью на своём топчане вся в слезах. Ей снилось, что отец сейчас умрёт. Она сжала шарик и упала в светлый проём. Мама разбудила её тогда, ласково говоря:

— Доченька, проснись. Ты плакала. Что с тобой?

— Теперь уже хорошо, и папа жив, — уверенно ответила Гелька и снова заснула. Отец рассказал после, что однажды на фронте спасся чудом, сам не знает как.

Второй случай был в походе на Сахалине, когда она почувствовала, что сможет взять с собой «туда» всех сверстников, но не учителя.

Окно перестало открываться уже давно. Геля много думала об этом. Выходило, что способность попадать «туда» исчезла, когда она перестала ощущать постоянное чувство голода. Быть может, голодный ребёнок, голодные подростки или взрослые в беспмятстве обладают какими-то особыми свойствами? Ведь известны религиозные посты, и у изголодававшихся возникают необычные видения... Однажды Геля решила заголодать, но родители так встревожились, что голодовку пришлось прекратить.

* * *

Геля так и не сумела разминуться с физикой. Тот самый учёный из экзаменационной комиссии уговорил её пойти на физико-технический факультет Политехнического. Училась она так же легко, как в школе, и так же оставалась в стороне от затей сверстни-

ков. Первую практику проходила в лаборатории по исследованию плазмы. Там быстро привыкли к её гладко причёсанной головке, к тому, как она молча, не поднимая глаз, выполняла мелкие поручения, обрабатывала осциллограммы. Однако иногда эта тихоня позволяла себе вмешиваться в теоретические споры высшего уровня, и это было похоже на спор рядового с генералитетом.

Спектр её интересов в науке был, с одной стороны, слишком широк - её занимал весь мир от атомного ядра до вселенной. С другой стороны, она всё сводила к некой общности, пытаясь объяснить своей гипотезой двухспиральной эволюции соединение начала и конца любого развития в одной точке. Но идея этой недоставало какого-то звена, которое связало бы в единую цепь россыпь блистательных догадок.

В конце пятого курса Геля снова проходила практику в той же лаборатории, настойчиво добиваясь разрешения на один эксперимент, который мог подтвердить её гипотезу. Руководитель лаборатории наотрез отказал ей, сославшись на потребный для такого эксперимента чрезмерный расход энергии. Да и не вправе он разрешать внеплановые работы, тем более по сомнительной гипотезе. Присутствие Гели в лаборатории в последнее время раздражало его. «Тоже мне, Эйнштейн в юбке, - думал он, - единая теория поля, эксперимент...». Иногда он даже жалел, что согласился взять её практиканткой.

Тогда Гелька завербовала чрезвычайно важного сторонника. Серьёзный Макс, то есть Максим Лев, несмотря на свои неполные тридцать лет, был известным экспериментатором. Кто знает, чем привлекла студентка этого сурового Льва. Может, трогательной кружковатостью, или редкостным мерцанием зеленоватокоричных глаз, или же своим объяснением строения атома. По её мнению выходило, что нет самого по себе ядра и самих по себе электронов, а есть вращающиеся поля, имеющие форму объемного тела, очерченно-го витками двухспиральной кривой... Virtuоз эксперимента восхитился логикой этого предположения и стал думать, как можно доказать его правильность.

Затем Гелька принялась убеждать его в том, что спиральные поля микромира продолжаютсЯ и в макромире, и во всей вселенной, которая замкнута сама на себя. Достаточно проткнуть поле, открыть в нём окно, как можно оказаться в пределах другого поля, очерченного следующим витком бесконечной спирали. Она говорила:

— Допустим, что я — маленький кусочек железа в магнитном поле.

— Да, Геля, допустим, но мне хотелось бы, чтобы магнитом в этом случае был я.

— Не шутите, я серьёзно. Так вот, я нахожусь в пространстве с определёнными магнитными свойствами. Но если я открою окно в этом поле и вырвусь из него, то окажусь в пространстве с другими свойствами.

— И не будете больше ко мне притягиваться. Как жаль, что приходится соглашаться с таким печальным результатом. Ну-ну, не сердитесь, я понял. А как же этот кусочек железа вырвется из моего поля? Как он откроет окно?

— Вот я и прошу об эксперименте. Я знаю, как это сделать, но мне не верят.

— Это будет опасный эксперимент, Геля, очень опасный.

— Вы сказали: «будет»! Значит, вы согласны?

— Да, если мы перейдём на ты.

После этого разговора они стали неразлучны, надолго задерживались в лаборатории. Гелька расцвела. Её стали замечать даже ироничные теоретики. Недавно ещё похожая на мальчика-подростка, она вдруг обрела притягательную женственность, которую раньше всех углядел зоркий Макс. Позже других перемену заметил отец. Однажды, залюбовавшись дочерью, он спросил:

— Что ты так поздно в лаборатории засиживаешься? Чем вы там занимаетесь? Лучше бы на танцы сбегала.

— Мы готовим эксперимент. Мой эксперимент!

— Надо же, твой собственный. А в чём там дело?

— Папа, расскажи ещё раз поподробнее, как ты

непонятным образом спасся на фронте.

— Не хотелось бы об этом вспоминать. Нас было четверо в тесном окопчике. Прямое попадание. Когда очнулся, никого не то что в живых, даже целых-то не осталось. Месиво... А на мне ни царапины. У меня тогда один висок поседел...

— А не помнишь ли ты светлый проём вроде окна рядом с собой?

— Постой-постой! Действительно. И я повалился в него. А ты откуда знаешь?

— Да вот знаю. И эксперимент мой имеет прямое к тому отношение.

* * *

Авторитет Макса сработал. Руководитель согласился на эксперимент, но уменьшенного по энергозатратам масштаба. Было рассчитано и изготовлено необычное устройство с двумя спиральными камерами и мощным разрядником в месте их соединения, а также особое защитное ограждение.

Незадолго до назначенного дня Макс провожал Гелю домой. Они шли таким странным путём, что никак не могли дойти, и говорили, говорили. Тут Гелька чуть всё не погубила, прочтя своё стихотворение про миры, ожидающие её. Макс помрачнел:

— Геля, ты не понимаешь, кем стала для меня. Сделаем так — я буду ставить опыт, а ты останешься с наблюдателями.

— Как?! Но я должна... Мне важно...

— Или будет, как я сказал, или опыт не состоится.

— Ладно, пусть так, — Гелька быстро сообразила, что всё может сорваться.

* * *

Итак, Гелька осталась за дверью. Вместе с другими следила она за действиями Макса через специальное смотровое окно. Она не знала, что уже давно Лев подал руководителю лаборатории заявку на опыт и попросил написать на ней отказ. Такого ещё не бывало. Руководитель понял, что Макс хочет освободить

его от ответственности за какие-то предвидимые опасные последствия, и предложил действительно отказаться от эксперимента. Но Макс ответил:

— Ведь Геля будет там. Вы же понимаете, я не допущу чего-то опасного для неё. А этот отказ на бумаге — простая формальность, чтобы вам не нагорело за внеплановый энергоёмкий эксперимент.

Руководитель ждал, когда же Геля войдёт в экспериментальный бокс, но она оставалась у смотрового окна — особо прочного, непроницаемого для жёстких излучений, напряжённо следя, как Макс неторопливо и с привычной тщательностью всё перепроверял. За защитным ограждением в зоне разрядника шевелилась маленькая черепашка, там же были оставлены часы, компас, перочинный нож и спичечный коробок. Черепашка, ползая, толкала эти предметы, и они лежали в беспорядке.

Неожиданно Макс опустил на глаза защитные очки, повернулся к окну, помахал рукой и нажал пуск. Послышалось негромкое гудение. Оно нарастало, пока не раздался страшный треск небывало яркого разряда. Макс пригнулся и прикрыл руками голову. На месте разряда возник световой луч, в котором сразу же исчезла черепашка. Макс выпрямился и шагнул чуть ближе к ограждению, успев заметить, что остальные предметы выровнялись в линейку. Одновременно метнулся к ограждению и луч света, на долю секунды задержался и, рывком преодолев преграду, охватил Макса.

Никто не уследил, каким образом Гелька открыла смотровое окно. Она что-то такое сделала, что остался лишь проём, через который она впрыгнула в бокс, бросилась к Максиму и обхватила его руками. Луч света сосредоточился вокруг них в нестерпимо сияющее яйцо, внутри которого темнели их слившиеся фигуры. Через мгновение всё исчезло.

Люди оцепенели. Сквозь проём смотрового окна был виден лишь ряд из неодушевлённых предметов, к которым присоединился прозрачный шарик с искрящимися спиралями внутри.

* * *

Спасительная заявка Макса с размахисто начерченным отказом не утешала руководителя лаборатории. Он часто оставался вечерами на работе и занимался исследованием сохранившихся после опыта предметов. Ничего не прояснялось. Почему все спички оказались без серных головок? Отчего металл лезвий ножа стал твёрже алмаза и приобрёл особую гибкость? Часы шли и шли без всякого завода, но ход их стал неравномерным. Стрелка компаса оставалась в неизменном положении, хотя и подрагивала на острие опоры, когда к ней подносили сильный магнит. Она не указывала никакого направления для поисков.

Руководитель недвижно сидел за столом, вглядываясь в прозрачный шарик, внутри которого искрящиеся нити образовывали двойную спираль. Это была коння той схемы эволюции, о которой так любила рассуждать Геля. При вращении шарика витки спирали образуют вложенные друг в друга объёмы и пульсируют в завораживающем ритме, как порой пульсировал свет в глазах Гели. Шарик-подсказка? Откуда он? Может оттуда, куда прорвались эти двое? Да, они прорвались! Сквозь неподатливое, непонятное... Сквозь насыщенное дикой энергией, отталкиванием, притяжением... Куда-то в иное, в неизвестное. И он был рядом, но не с ними.

Теперь ему ясно, что не практикантка раздражала его, а он сам — такой, каким стал с годами, в кого превратился он, когда-то дерзко несогласный, жадный на всё новое, необычное. Обтесались колючки его дерзости, притупилась острота его мыслей, всё покрылось жирненьким бытовым опытом, академическим благополучием. Так вот, каким он стал. Как высветилось всё это светом, полыхнувшим из окна, открытого совсем рядом, но не им, не им...

* * *

В мастерской одного известного художника есть странная картина в строгой белой раме. Великолепно выписанный берег моря прерывается вклеенным неза-

конченным наброском. Девочка сидит на выступе скалы, спиной к морю. Хорошо схвачен поворот головы. Трогательные худенькие руки, плечи... И какие-то необыкновенные, хотя и не совсем дорисованные глаза.

Художник считает портрет своей лучшей работой. Зрители незаметно пожимают плечами, но, уйдя, уже никогда не могут забыть эту девочку.

Август 1984, Чёнки под Гомелем.

Октябрь 1987, Ленинград

Сентябрь 2001, Берлин.

АННА ОСМОЛОВСКАЯ

ДЕНЬГИ НА ЛЕКАРСТВО

Андрейка вздрогнул, открыл глаза, прислушался к ночной тишине. Приснилось? Или на самом деле звала его мама? В соседней комнате послышался стон. Андрейка вскочил:

— Мама, ты чего?

— Там, в тумбочке... таблетки...

Андрейка зажёл свет. Мама лежала бледная, с побелевшими губами.

В углу стала подавать признаки жизни бабушка. Она была глуховата. Свет разбудил её. Свесив с постели ноги в тёплых носках, нащупала ими тапочки.

— Валь, что с тобой?

— Боль в груди нестерпимая. Ни вдохнуть, ни выдохнуть, — прошептала мама.

— Беги за тётёй Таней, — сказала Андрейке бабушка.

Он выскочил на лестницу, забарабанил в соседнюю квартиру.

Залаяла Дулька, послышался глухой испуганный голос. Минуту спустя тётя Таня, босая, с растрёпанной жидкой косичкой, дрожащими пальцами набирала номер скорой.

Только к утру в дверь позвонили. Пришли двое в белых халатах. Обмякшую маму положили на носил-

ки и, задевая ими за выступы крохотной прихожей, понесли из квартиры.

Утром, когда заработал транспорт, Андрейка с тётей Таней поехали в больницу.

— С сердцем у неё нелады, — сказала дежурная медсестра, — последняя палата по коридору. Там она... Вот рецепты. Нет лекарств в больнице...

— У вас хлеба немного не найдётся? — стыдливо спросила встретившаяся им в пустынном коридоре худенькая женщина. Тётя Таня удивлённо пожала плечами. «Сейчас маму увижу!» — радовался Андрейка.

В палате все спали. Мама лежала у окна, уткнувшись в подушку.

Ее соседка, миловидная блондинка, приподнялась на локте и чуть слышно сказала:

— Не будите её. Ей укол сделали. Она только недавно заснула. Приходите потом, лучше завтра.

— Я ей кефир принесла, — остановилась в нерешительности тётя Таня. — Где её тумбочка-то?

— Не оставляйте, нет! С собой принесите, пусть она при вас выпьет. Я тут на перевязку ушла, так мою тумбочку всю обчистили. Даже зубную пасту унесли. Представляете? А у той, что у стенки, тапочки из-под кровати стащили. Я теперь свои в старом полотенце под подушкой держу.

Андрейка понимал, что заболела мама из-за переживаний за Колю. Уже больше месяца нет от него известий из Чечни. Когда провожали Колю в армию, мама, глотая слёзы, махала вслед уходящему поезду. А когда поезд растворился в серой дали, легла на землю, припорошенную первым снегом, и зарыдала. С тех пор маму словно подменили.

Андрейка не верил, что с братом может что-то случиться. Коля и война — понятия несовместимые. Он маленький, худенький, ему больше пятнадцати никто не даёт. И такой добрый! Он не разрешал Андрейке срывать цветы, ломать ветки на деревьях: «Они живые. Им больно. Они тоже жить хотят», — говорил он.

Представить Колю с оружием в руках, стреляющего, убивающего, было невозможно.

Андрейка запомнил дорогу в больницу и на следующий день после школы отправился туда. Зимнее тусклое солнце освещало палату. Мама лежала на чуть приподнятой подушке и невидящим взглядом смотрела в окно. За стеклом раскачивалась и дрожала на ветру голая верхушка берёзы, дотянувшаяся до третьего этажа.

— Сынок! — обрадовалась она, когда Андрейка заглянул в палату. — Ты один? Как же ты дорогу нашёл?

Андрейка присел к ней на краешек кровати, обнял, поцеловал. Принесли обед и поставили на тумбочку.

— Хочешь? — спросила мама. — Поешь, я всё равно не буду. Кефира напилась. Тётя Таня приходила, пришла.

Андрейка был голоден и принялся уплетать пустые щи.

Глядя на тонкую шею сына и ушки-лопухи, Валентина немного успокоилась. Тревога за старшего сына уступила место тихой радости. Но её тут же сменила новая волна тревоги. Что будет с Андрейкой, когда он подрастёт? Выходит, и его погонят выполнять долг перед Родиной? Какой долг? В чем? Бомбить? Умирать неизвестно за что? Валентина не понимала смысла этой затянувшейся на долгие годы войны.

К соседке, миловидной блондинке, пришли посетители: пожилая женщина и девочка. Женщина положила на тумбочку два яблока и коробочку конфет. Потом налила в бутылку из-под сока воду и поставила в неё бархатистые гвоздики. Блондинка ласково обнимала девочку за плечи и уговаривала съесть яблоко, уверяя, что не хочет. От яблока девочка отказалась, а вот конфетку съесть согласилась.

Андрейка, выбирая коркой чёрного хлеба остатки жижицы с тарелки, украдкой косился на соседей и улыбался, радуясь, что рады они. Он сразу понял: вот бабушка, а это бабушкина дочка, а это внучка. Как в сказке...

Девочка чмокала губами, шуршала фантиком.

Андрейке загадал: посмотрит на него и предложит конфетку. Но она, занятая разговором с матерью, его не замечала. «А я тоже маме принесу что-нибудь вкусенькое!» — подумал он.

— Мам, я завтра опять приду, — сказал Андрейка и стал прощаться.

— Приходи, сынок. Слушайся бабушку и помогай ей. У вас там, наверное, уже продукты кончаются. Узнай, когда в магазин пойдёт тётя Таня, и сходи вместе с ней. Она скажет, что купить. Бабушке скажи: деньги в моей старой коричневой сумке в шкафу на верхней полке.

Андрейка вернулся домой. Бабушка спала. Ей с утра неможилось. А ему после больничного обеда опять хотелось есть. В кастрюле на плите он обнаружил чуть тёплую перловую кашу. Не снимая куртки, съел несколько ложек, нашёл в шкафу деньги, там было двести пятьдесят рублей. Зажав деньги в кулак, побежал к тёте Тане узнать, не собирается ли она в магазин.

Тётя Таня чаще всего сидела дома. Куда ей ходить? Была она одинокой. Но такой себя не чувствовала. Колю и Андрейку, выросших на её глазах, любила, как родных внуков. А тёти Тани дома не оказалось.

«Может, с Дулькой гуляет?» — подумал Андрейка и помчался на улицу. И на улице её не было. Постояв в раздумье у подъезда, отправился в магазин один.

Когда в бакалейном отделе подошла его очередь, он растерялся. Его всегда посылали только за хлебом.

— Что тебе, мальчик? — спросила продавщица

— Мне? — отозвался Андрейка.

— Тебе, тебе! Кому еще?

— Мне... мне конфет.

Он указал на конфеты в ярких блестящих фантиках.

— Сколько?

Андрейка не знал, что сказать.

— Ну сколько? — раздраженно повторила продавщица. — Полкило? Кило?

— Кило, — проговорил Андрейка, не представляя, сколько это будет.

Выйдя на улицу, развернул кулек. Он был из толстой коричневой бумаги в три слоя, но конфет на килограмм оказалось немало. Андрейка попробовал одну штучку по пути в булочную. Ух, вкусная!..

На заснеженной обочине девушка продавала цветы. Они стояли внутри ящика из чего-то прозрачного. Рядом с ними горела свечка. Андрейка понял: чтобы им было не холодно. Его взгляд остановился на чайных розах, нежных, с полупрозрачными лепестками.

В голубых сумерках раннего вечера эти розы на снегу, освещенные трепетным пламенем свечи, казались такими сказочными, такими волшебными!..

Андрейка постоял и вдруг неожиданно для самого себя сделал шаг к девушке и сказал:

— Мне три розы.

Девушка посмотрела на него с некоторым недоверием, но сказала:

— Выбирай.

Когда Андрейка рассчитался за цветы, он обнаружил, что денег осталось только на полбуханки хлеба. Домой возвращался бегом, чтобы цветы не замерзли. Тыкался губами и носом в ароматные лепестки, стараясь согреть их своим дыханием, и успокаивал себя: «Завтра отнесу цветы маме. Она будет радоваться и скорее поправится».

Но бабушку розы почему-то огорчили. Вид у неё стал растерянный.

— Как же теперь быть-то? — забормотала она. — Там же денег-то было в обрез, только на жизнь. Чего ж ты, Андрейка, не спросил? Пенсия-то у меня ведь только через восемь дней!..

Андрейка с розами в руках стоял в прихожей, и от этого её бормотания ему стало так стыдно, что он словно язык проглотил.

— Я... Я не думал, что они так дорого стоят, — наконец пролепетал он виновато. — Может, у тети Гани одолжим?

— Милый! Да откуда у неё лишнее, чтобы одал-

живать? Пенсия маленькая, не пенсия, а крохи. А она ещё и собаку кормит. Сама-то я чайком обойдусь. А тебя-то чем кормить буду? Постного масла осталось чуть-чуть, картошка кончается, а сахару и вовсе нету...

Вечером Андрейка делал арифметику и никак не мог решить задачу. Из кухни доносился разговор. Бабушка с тетей Таней перебирали всех, у кого можно было бы одолжить до пенсии. Ничего не получалось. В их хрущевской пятиэтажке народ жил небогатый.

— Всё ж до перестройки ихней жилось лучше, — вздохнула тетя Таня. Теперь хуже. Ну, не всем, правда, а вот таким, как мы с тобой. Красивых магазинов понастроили, а нам что толку? Иду я, к примеру, в магазин, ровно на выставку. Погляжу на ихние чудеса, на продукты заморские, да и домой не солоно хлебавши. У меня в холодильнике палочка маленькая сервелата лежит. Так я её на кусочек хлеба положу и жду, чтобы он колбасным духом пропитался. Сниму — и назад, в холодильник, до другого разу. А раньше, при Брежневе, да сперва и при Ельцине всегда могла себе колбаски по два двадцать купить...

— Может, у Зинаиды из второго подъезда? — проговорили бабушка.

— Нет, что ты! — сказала тетя Таня. — У неё знаешь, что случилось? Растрату нашли. Взяли её в кооперативную палатку, помнишь, мы еще радовались? Так вот, большой суммы недостача, за три норковые шапки долларовые. То ли просчиталась, то ли с витринки стянули, шапки-то... А я думаю, её хозяин подставил. Он ей сказал: «Ничего не знаю, деньги где хочешь доставай. Не достанешь — квартиру продашь, я покупателя найду». А кто покупатель? Небось, он сам... Ох, беда!.. Одно счастье у неё — Дениска. Золотой паренёк: всегда поздоровкается, всегда сумку поднесёт. Как растрата случилась, он после школы на бензоколонку стал ходить, подрабатывать. А Зинаида с долгом-то потихоньку и рассчитывается. Порозовела...

Андрейка знал Дениса, старшего брата своего приятеля Саньки, с которым сидел за одной партой. Но где достать денег, бабушка с тетей Таней так ничего и не придумали.

Утром бабушка вдруг решила поехать к своей подруге Вере Васильевне, на другой конец города. Сказала — давненько не виделись. Андрейка удивился: зимой бабушка старалась не выходить: она и в квартире-то мёрзла. Да и подниматься на третий этаж стало ей трудно.

Андрейка помог достать с антресолей узел с бабушкиной одеждой. Когда его развязали, поднялось облако пыли, полетела моль. Бабушка ахнула. Пальто стало неузнаваемым: слежавшееся, изжеванное, изъеденное молью в решето. Мерлушковый воротник ись в пролысинах. Головной платок из козьей шерсти в нескольких местах зиял дырами. Бабушка поохала, но решение отправиться к подруге не изменила.

У Андрейки в этот день в школе не было занятий, заболела учительница. Он сказал:

— Я с тобой.

— Нет, милый, нет, — наотрез отказалась бабушка. Не разрешила и проводить себя до метро.

Андрейка смотрел на бабушку в окно. Сверху она казалась еще меньше, сгорбленной, беспомощной. Пальто, словно у нищенки... И идет еле-еле, как слепая, палкой дорогу шупает, остороженько переступает... Старенькая она, ох, старенькая... Андрейка никогда не думал о смерти, а тут вдруг испугался: если бабушка умрет, а мама в больнице, как он жить будет?

...Вернулась бабушка поздно. Не раздеваясь, села в кухне на табуретку и так сидела неподвижно, уставившись в одну точку. Потом повернула голову и еле слышно сказала:

— Поставь чайник... И посмотри там, в сумке... Я кой-что принесла...

Андрейка раскрыл сумку и увидел сдобный батон, кулечек с сахарным песком. Терпенья дожидаться чая не было, и он съел полбатона, отламывая кусочек за кусочком.

Наутро бабушка опять ушла. Вернулась вечером совсем без сил. На этот раз в сумке был мягкий круглый хлеб и пачка маргарина.

— Вера Васильевна прислала,— пробормотала она, встретившись с вопросительным взглядом Андрейки.

Потом ей стало плохо. Видно, очень устала. Два дня она пролежала в постели, а утром третьего дня поднялась и опять поехала к Вере Васильевне. А Андрейка пошел в школу.

— Твоя бабка — побирушка! — подскочил на перемене Славка. Он ненавидел Андрейку за то, что тот был сильнее и что учитель физкультуры ставил всем в пример, как он подтягивается на турнике. — Я её видел, она у церкви на Соколе деньги у прохожих кланчила! — злорадно вопил и приплясывал Славка.

— Врёшь, гад! — вспыхнул Андрейка. — Ух, врежу! — Сделал он шаг вперед, сжав кулаки.

Славка отскочил подальше, скорчил рожу и продолжал вопить:

— Твоя бабка оборванка, побирушка, нищенка! Всем ребятам расскажу! Побирушка, нищенка!.. — И на всякий случай дал стрекача.

Андрейка стиснул зубы. Было обидно, но за Славкой не погнался. Отвернулся и пошел прочь. Слёзы наворачивались на глаза.

Вечером бабушка спросила:

— Ты что, внучёк, такой надутый?

Андрейка помолчал, потом решил:

— Славка говорит, будто что ты милостыню просишь. Врет же, правда? Я ему так в ухо дам!

Бабушка изменилась в лице и тихо сказала:

— Попросить — не украсть. Мал ты ещё... Только я правда сначала поехала к Вере Васильевне. Так она на лекарство денег дала, тетя Таня купила и снесла в больницу. А деньги ей нужно вернуть, лишних у нее нет... Я и пошла...

Голос у нее сорвался, по щеке покатились слезы.

Андрейка вскочил, обнял бабушку:

— Не плачь, бабуля, не плачь!

— Я и не плачу... А ты ешь, ешь колбаску-то. Я не буду. Мне в моем возрасте вредно.

— Бабушка, — сказал Андрейка, — я ведь тебя искал. Я хотел узнать, правду Славка сказал или со-

прал. Там, у Сокола, у церкви много старушек было, а тебе не было.

- Я после обеда на другое место пошла. Служба кончилась, церковь закрыли, погреться нигде... Пошла к метро, к самому входу, постояла немного, потом спустилась вниз, на скамейке погрелась, и опять ко входу поднялась. А моё место уже занято. Женщина с ребёнком стоит, как и я, милостыню просит. Не прогонять же... Я чуть в сторонке приткнулась. А тут приходит молодой такой, гладкий, морда упитанная. Да как заржет на меня: «Проваливай, старуха, отсюда! Ишь, приклеилась! Это место наше!» Я говорю: «Нет, это моё место. Я здесь раньше стояла». А он опять на меня: «Мало ли, что стояла! Проваливай! Ты это место что, купила!?» Я и ушла. Поняла: все хорошие места давно захвачены. А место хорошее, бойкое, людное, хорошо там подавали. Я там совсем недолго постояла, и вот тебе на колбаску насобирала. А как в другое место ушла — толку никакого. От «Гастронома» меня милиционер прогнал... Завтра опять к церкви идти придется...

...Возвращаясь из школы, Андрейка столкнулся у дома с Денисом, который приветливо подмигнул и промчался мимо.

Андрейке нравился Санин брат. Уже в седьмом классе, а с ним, с Андрейкой, как на равных. Глядя вслед Денису, размахивающему на бегу пустой канистрой, Андрейка живо вспомнил недавние слова тети Гани: вот кто сможет помочь, — Дениска!

С этой обнадеживающей мыслью Андрейка побежал домой, бросил портфель и помчался на бензоколонку разыскивать Дениса. Как бы и ему, Андрейке, научиться зарабатывать? Тогда и бабушка не будет побираться ходить, и на еду вкусную хватит, и долг отдать за лекарство. А для мамы он будет каждый день покупать розы. Мама так радовалась, так улыбалась, когда он принёс ей в больницу цветы!

Бензоколонка представляла собой кишаший муравейник. Очередь желающих заправиться легковушек растянулась на добрый километр. В этой сутолоке Андрейка пытался разыскать Дениса, но того нигде не

было. Потеряв надежду, Андрейка побрел вдоль длинной вереницы машин. Они с черепашей скоростью продвигались к бензоколонке. Водители то и дело выскакивали из-за руля, возмущались, матюгались, курили.

— Андрейка! Ты что тут делаешь?

Мимо пробежал Денис с канистрой в руке, остановился, поставил канистру между ногами.

— Я тебя ищу! — Андрейка бросился к нему. — Я тоже хочу... хочу деньги зарабатывать маме на лекарство!

— Лекарство?... — Несколько мгновений Денис молчал, потом сделал шаг в сторону и кивнул на канистру:

— Подними!

Андрейка снял варежки, чуть потными руками схватился за ручку двадцатилитровой канистры. Ладони мгновенно прилипли к обжигающему холодному металлу. Напрягшись что есть силы, оторвал тяжесть от земли, но удержать не смог. Канистра вырвалась из рук и шлепнулась на заледенелый асфальт.

— Ну вот, видишь, — с сожалением сказал Денис и легко поднял её:

— погоди, я сейчас...

И побежал с канистрой по дороге, Андрейка за ним.

Возле последних очередников Денис приостанавливался и о чем-то говорил с сидящими за рулем водителями. Они отрицательно качали головами. Но из красных «Жигулей» вышел вразвалку долговязый мужик, взял у Дениса канистру и отвернул пробку бензобака. Заправившись, отсчитал Денису несколько бумажек, вырулил из очереди и, набирая скорость, помчался прочь.

У Андрейки загорелись глаза: Денис достал из внутреннего кармана кожаной куртки пухлый бумажник и вложил деньги, полученные от долговязого. Мальчики пошли назад к бензоколонке.

— А когда ты уроки делаешь? — поинтересовался Андрейка.

— Ночь на что? — грубовато отозвался Денис.

Навстречу им бежал мальчишка маленького роста, щупленький. Тяжелая канистра притягивала его к земле. Он пыхтел, пар валил у него изо рта.

— «Шакал», атас! — крикнул он, поравнявшись, и промчался мимо.

— Давай-ка другой дорогой, — озабоченно сказал Денис. — Вовка зря не болтает.

Они свернули в проулок и пошли к бензоколонке, огнивая жилые дома.

— Это кто, шакал? — спросил Андрейка.

— Мент, — обронил Денис.

— Вы его боитесь?

— Бояться не боимся, а осторожность проявляем. Мы бензин продаем дороже, чем покупаем, а это у них называется спекуляция. Покупатели, как видишь, есть, не у всех хватает терпения стоять в очереди... Так «Шакал» нас словит. Застукал однажды, деньги отобрал. Теперь караулит, опять грабануть хочет. Так что смотрим в оба...

— Где же вы бензин берете? — не унимался любопытный Андрейка.

— Вон, видишь, у двери закутанная платком? Тетя Люся её зовут, она машины бензином заправляет. И нам тоже в канистры втихаря заливает, когда не видит никто. Правильно осторожничает, скандала боится, а нам выжидать приходится. Мы ей половину выручки отдаём. Так что не Бог весть сколько зарабатываем... Еще и рэкетирам приходится отстёгивать. А куда от них денешься?

— Им-то за что?! — возмутился Андрейка, ему было жаль Денискиных денег.

— А не за что. Их двое, здоровенные... Промышляют на халяву. Только мы здесь начали работать, они сразу же объявились, говорят: «За точку будете платить». Сумму назначили: «Не согласны — изобьем и выгоним, другие придут, а согласны — защищать будем». Мы их рэкишками зовем.

— От кого защищать? От шакала?

— Нее... Ментов они сами боятся. Обещали от других рэкетиров да от кидал, а получилось — мы им только деньги отстёгиваем, а себя сами защищаем.

Встретив непонимающий Андрейкин взгляд, Денис пояснил:

— Кидалы — они за бензин не платят.

— Как? — удивился Андрейка. — Не платят? А тётя Люся что?

— Тёте Люсе мы уже заплатили, так что это наши денежки плакали... А пикнешь, кидалы и в глаз могут дать.

Дойдя до бензоколонки, прошли за угол. Там стоял рыженький голубоглазый парнишка.

— Это Андрейка, — пояснил Денис. — А это Игорёк. Нет ещё?

Игорек протянул Андрейке руку:

— Новенький будешь?

За Андрейку ответил Денис:

— Нет, присматривается. Ну, что, выставила?

— Нет, тянет что-то, — отозвался Игорёк.

— Сейчас мы втроём, — пояснил Денис, — было четверо. Женька воспалением легких заболел, тут простыть ничего не стоит, всё время на ветру... Я ему уроки ношу.

Прибежал запыхавшийся Вовка. Вид у него был довольный. Отдал деньги Денису.

— Что так много? — удивленно спросил тот.

— Загнул! — хохотнул Вовка. — Вдвое загнул, а они, представляешь, не моргнули! Из новых...

— Это тебе за вчерашнее, — отлистнул несколько бумажек Денис и пояснил Андрейке: — Его вчера кинули.

— Ага, двое, сволочи! — оживился Вовка, увидев по лицу Андрейки, что тот будет слушать:

— Я им говорю: «А деньги?» А они: «Какие деньги, спекулянт несчастный? В тюрягу захотел?» Рванули с места, только шины завизжали, всего меня из лужи водой со снегом да бензином окатили. И уехали.

Перед Андрейкой открывалась иная сторона жизни. Глаза его то загорались от радости за успехи Дениски и его друзей, то грустнели от тяжкого сопереживания за унижения, выпавшие на их долю.

— Заковырялась что-то тётя Люся, — произнес недовольно Денис и взглянул на Игорька. — Значит,

тебе простой. Будем с Андрейкой трепаться.

Все уселись на пустые канистры. Было ветрено, шел снег, но Андрейка не чувствовал холода.

— Расскажем ему, как в «Нептуне» были? — начал Вовка. — А, Денис?

— Расскажем, — отозвался тот и достал из кармана джинсов полиэтиленовый пакет. Развернул, раздал всем по бутерброду. — Это от мамы подарок.

Хлеб с сыром, посыпанный хлопьями снега, оказался Андрейке небывало вкусным.

— Мы в тот день работу кончили, а рэкишки за деньгами не пришли, — начал Денис. — Мы обрадовались, подумали, что их арестовали, и они больше никогда не придут. Решили деньги потратить на себя. Мороз был градусов двадцать. Мы замерзшие, усталые, жрать хотим как собаки. Пошли в «Нептун», это на «Речном вокзале». А официант давай нас отгонять. Оно понятно: Женька впереди идёт, а он ботинком цапнулся за что-то и подошву оторвал, потом подвизал её тряпкой, которой мы канистры протираем. Тряпка грязная, бензином несёт. Официант и машет рукой: мол, бегите отсюда. Я тогда независимой походочкой выхожу вперед, из своей кожаной курточкой достаю бумажник, где деньги для рэкишек лежали, и так подкидываю на ладошке у него перед носом. Он сразу забегал. И сам забегал, и еще кого-то подозревал... Давай, Вовка, вижу, тебе не терпится!

— Ну, сняли с нас в гардеробе курточки, — затараторил Вовка, — гардеробщик Женьке что-то на ноги дал, а ботинки вонючие забрал на сохранение. Провели нас в зал, усадили на длинную деревянную лавку. Она возле такого же длинного деревянного стола. Ты, Андрейка, там, конечно, ни разу не бывал, а там здорово: и полы, и стены, и потолок — всё из дерева. Вместо окон — круглые иллюминаторы с голубой подсветкой. Ну полное впечатление, что ты на корабле в открытом море. Канаты толстые сверху висят, якоря на полу....

— Нам официант меню подал, — перебил Денис, — а мы же первый раз, не знаем, что заказывать. Пальцем наугад ткнем, куда попадет, — и официант с по-

мощником тащат. Цены нас не пугали, у нас денег куча была, в тот день хорошо заработали,— он мечтательно замолк.

— Крабов нам принесли, — вклинился неугомонный Вовка, — такая жарчка вкусная — полный отпад!

— А мне рыба понравилась, черная, длинная, как змея. Меня от одного её вида чуть не стошнило, даже попробовать не хотел. А попробовал — оказалось, пальчики оближешь, — сказал Игорёк.

— Мы ещё пачку сигарет и две бутылки пива заказали, — перебил Вовка, — сидим нога на ногу, кайфуем, пиво потягиваем. Все на нас смотрят. Кашляли на весь зал — отпад! Никто ведь из нас раньше не курил, вот смех.

— Ну, а когда расплачиваться стали, официанту такие чаевые отвалили — у него глаза на лоб полезли. Наверное, никогда в жизни таких не получал. Уходим, а он как истуканчик кланялся, на лице улыбка, и все повторяет: «Заходите еще, заходите еще!». Во, смеху-то! — закончил Игорек.

— Только следующим день был препоганый, — вздохнул Денис. — Рэкишки пришли, говорят: гоните за два дня. Мы домой пустые пришли. А главное — Женька не вышел, заболел, простыл. Может, оттого, что промок, снег в худой ботинок набился. Да ещё и накурился он в «Нептуне».

Игорёк привстал, всмотрелся из-под ладошки и нырнул за угол. Это означало: долгожданная канистра появилась в условленном месте.

— Иди, Андрейка, домой, — сказал Денис, — моя очередь на карауле стоять. Болтать времени больше нет.

Он достал бумажник, вытащил оттуда три десятирублевки, сунул Андрейке в карман:

— Это маме твоей на лекарство.

Откуда-то раздался отчаянный крик Игорька. Его перекрывал агрессивный мужской бас.

Денис и Вовка бросились на помощь, Андрейка побежал вслед. Возле конца очереди уже собралась небольшая толпа, усатый здоровяк вырывал канист-

ру, а Игорек вцепился в неё мертвой хваткой:

— Пустите! Пустите! Это мой бензин!

— Шпана, мерзавец! — кричал здоровяк. — Мы тут часами на холоде мёрзнем, а ты, ублюдок, без очереди!..

Ему вторил истерический визгливый голос:

— Он и ко мне подходил, он и мне предлагал бензин вдвое дороже!

Здоровяк пнул Игорька ногой. Тот упал, но канистру не выпустил. Плохо придавленная пробка раскрылась, на одежду его хлынул бензин, по снегу разлилось желтовато-зеленое пятно.

— Зачем вы его бьёте?! Он же ещё ребенок! — выскочила из машины женщина. — Остановитесь, неужели вам не стыдно?!

Толпа зашумела. Скандал обрастал всё новыми голосами:

— Нашла за кого заступаться! Вот из таких и вырастают бандиты! Сегодня бензин продают, завтра наркоту!

— Бей его, бей! Мафиозям надо голову отрубать и зародыше!

Денис и Вовка подбежали к Игорьку, стали помогать подняться, но чьи-то сильные руки подхватили Игорька и поставили на ноги. Высокий молодой мужчина без шапки громко крикнул:

— Совковое мышление, граждане! Не знаете законов рынка, принятых во всем цивилизованном мире. У них берут люди дороже — значит, и продают дороже. Да из таких ребят настоящие бизнесмены вырастут!

Толпа увидела новый объект для атаки, и на Игорька перестали обращать внимание. Он подобрал полупустую канистру и, опираясь на Дениса и Вовку, захромал в сторону бензоколонки.

— Больно?

— Коленка болит, — проговорил Игорек. — Думано, синяками обойдусь. Кости целы.

Денис вытащил из кармана платок, стал обтирать его залитую бензином куртку и брюки.

— Иди-ка ты, Андрейка, домой. Видишь, как оно

бывает... Не думай, я не жлоб, но мал ты ещё. Бизнес — дело суровое.

Андрейка постоял секунду и пошел домой.

Уже было почти совсем темно. Поднялся сильный ветер, метал из стороны в сторону падающий снег, срывал с сугробов тонкие пласты, раздувал их, закручивал вихрями. Всё слилось в сплошную мятущуюся пелену, сквозь которую едва просматривались грустные силуэты хрущёвских пятиэтажек.

Андрейка брёл домой по заметенному снегом тротуару. На ходу достал из кармана скомканные деньги, аккуратно расправил и положил назад: «Бабушке отдам. Хотя и не заработал, а всё-таки маме на лекарство».

Пальцы на правой руке совсем заоченели и плохо двигались. Где-то на бензоколонке он обронил варежку.

— Что я наделал! — вдруг ахнул он. — Ушёл и бабушке ничего не сказал! Она там с ума сошла!...

Он прибавил шаг, потом побежал.

Вдалеке сквозь снеговую завесу чуть обозначилось тёмное пятно. Оно стремительно летело на него, приобретая все более отчетливые контуры. «Дулька!» — узнал Андрейка. Собака наскочила на него с повизгиванием, выражавшим у неё восторг, подпрыгнула, лизнула в нос, ухватила зубами край шарфа и потянула, мотая головой. Андрейка чуть не упал.

— Дулька, ты что, взбесилась, что ли?

Второе выплывшее из метели пятно оказалось тётей Таней. Вся запорошённая, белая, словно снежная баба, она шагала быстро, почти бежала:

— Андрейка, Андрейка, где ты был?!

Она задыхалась, широко открывая рот.

— Мы тебя ищем, ищем, а ты...

Она обняла Андрейку за плечи, стиснула, прижалась подбородком к макушке его кроличьей шапки:

— Ах, Андрейка, Андрейка!..

— Тётя Тань, ну что?.. Ну скажите же, что?

— Про Колю... про Колю... письмо!... — крикнула тётя Таня и зарыдала в голос.

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ

Таня прислушалась к Гениным шагам. Он ходил по балкону и курил. На сердце у неё было тяжело от сознания, что её любовь стала тяготить и раздражать его. Она спрашивала себя: «Почему?» Внутренний голос, даже не её, а какого-то другого «я», живший глубоко внутри, отвечал: «Ты знаешь». И она знала... Любовь к восемнадцатилетнему мальчику — безумие. Но ещё большее безумие — её замужество. Когда всё это началось, она научила его целоваться, потом научила искусству любви. И вдруг поняла, что из её мадемуазельской мести его отцу возникло нечто, без чего ей стало не хватать воздуха. Вопреки логике она выстроила будущее там, где оно не просматривалось, и которое сейчас благодаря всё той же логике рушилось, несмотря на все её усилия его сохранить. Они оба будто пробудились от сна, в котором были счастливы. Различие состояло лишь в том, что он желал пробуждения от этого сна, она желала его продолжения. Хотела снова ворошить его рыжие волосы, говоря: «Мы ведь никому-никому не откроем свой единственный секрет любви, правда? Мы успели всё, кроме одного — надоест друг другу. Помнишь, как это было?» «Как

лавина», — смеясь, отвечал он. — «Ты настигла и поглотила меня. Я люблю тебя, Танюша»... Как давно не говорил он ей эти слова. Как давно. Постепенно он перестал пускать её в свой внутренний мир. Теперь отдалился вовсе. Ничто не спасёт их брак, ни прошлая сексуальная гармония, ни горячо любимый сын, сладко посапывающий в соседней комнате. С каждой минутой Гена отдаляется от неё.

Она хотела быть счастливой, но все события с математической точностью отнимали эту возможность. Как возникающая с негатива фотография, всплывало в памяти прошлое, которое невозможно было перечеркнуть. Прошлое, которое всегда будет стоять между нею и Рыжим, как называла она мужа. Прошлое в виде тени его отца, с которым у неё был продолжительный роман и которому она не принесла счастья. И хотя связь их тогда, около пяти лет назад, угасала, так как она поставила его перед выбором «она или семья», и он, выбрав семью, — оттого ли, что не любил достаточно сильно, или просто не терпел ультиматумов, — был сильно уязвлён своей отставкой, которая пробудила угасавшие в нём чувства. Но было поздно — она стала женой его сына.

Создавшаяся ситуация была настолько невыносимой, что Таня настояла на эмиграции. Рыжий, первой женщиной которого она стала, ради своей любви тогда был готов на всё, на разрыв с родителями, на эмиграцию, до конца не понимая, что же это такое. Тогда. Теперь же таинственная связь, будто они одной крови, рвалась. И у неё всё чаще возникало чувство, что что-то дорогое уходит навсегда.

Теперь он всё больше тосковал по родительскому дому и родительской ласке. Да по сути он и был ещё ребёнком, двенадцатилетним. И она, перешагнувшая тридцатилетний рубеж, подчас испытывала к нему материнское чувство. Её шутка о том, что у неё двое детей, ранее забавлявшая его, сейчас злила. Теперь она думала над каждым словом: никогда не знаешь заранее, какую цепочку событий может выстроить жизнь от нечаянно сказанного тобой слова. Слово — первично.

Она не выдержала и вышла на балкон.

— О чём ты молчишь, Рыжий?

— Не называй меня Рыжим. Я просил, — раздражённо сказал он.

— Раньше тебе нравилось. Ну, хорошо, не буду. Пусть так. Скажи... Что сделать, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты успокоился? Исчезнуть? Давай попробуем, проживём врозь. На расстоянии ты поймёшь, нужны ли мы с Димкой тебе. — Она намеренно упомянула о сыне, зная о сильной, почти патологической любви Гены к нему.

— К чему опять этот бессмысленный разговор, Ганя? Особенно сейчас, когда мне надо ехать в аэропорт встречать маму? Нарочно затеяла, заводишь меня? Ты хорошо знаешь, что это невозможно. Мы не можем позволить себе снять ещё одну квартиру. И что я смогу понять? Что нового открыть для себя?

— Послушай, — перебила Таня. — Я вовсе не завожу тебя. Это ты толкаешь меня в разные стороны, и это как паутина. Я так больше не могу, пойми. Нам следует пожить отдельно, хотя бы на время её приезда она же меня не выносит. Да, да, — остановила она жестом мужа. — Знаю, что ты скажешь: я сделала её несчастной, отобрав мужа, затем сына. Согласна — у неё есть основания. Но ты? Что ты съедаешь себя? Конечно, у нас неординарный брак. Но если бы был таковым — от скуки можно было бы умереть. И потом... Я же тебе всё рассказала. Ничего не скрывая. Скажи. Если бы это был какой-то другой мужчина, не твой отец, тебе было бы легче?

Она придвинулась к нему, пытаясь его обнять. Уклонившись, он сказал:

— Прошу тебя! Дай мне побыть одному. Мне скоро выезжать.

— Так я не нужна тебе? Наверное? Совсем наверное? — Не дожидаясь ответа, она вернулась в комнату, оставив его наедине с внезапно надвинувшейся ночью.

Только несколько минут назад ещё было светло. Здесь, в Иерусалиме, в горах, ночь наступает мгновенно. Увидев, что в спальне погас свет, он прошёл на

кухню и сварил крепкий кофе. Этой ночью ему не уснуть. Да и смысла нет — скоро выезжать. Кофе и сигарета — вот всё, что ему сейчас нужно. Он не представлял, что всего через несколько часов встретится с матерью, которую обожал, которую не видел около пяти лет, и разрыв с которой ещё несколько месяцев назад казался вечным. Снова выйдя на балкон, он прислушался: из-за пустыря, раскинувшегося за дорогой, огибавшей их дом и ведущей в Бет-Лэхем, доносилось едва уловимое монотонное пение — молитва. Как всё рядом на этой земле... Противостояние двух народов, корнями уходящее в неоднозначное прошлое. Как соединить несоединимое? Возможно ли? Даже в собственной семье ему вряд ли удастся примирить противостоящие стороны: отца и мать, мать и жену, жену и отца. Где его собственное место в этом квадрате? Он поёжился, вспоминая события пятилетней давности, когда объявил родителям о намерении жениться. Отец тогда побелел, у него только желваки задёргались. Не сказав ни слова, заперся в своей комнате. А мама... Страшно вспомнить. Как она рыдала, рвалась в комнату к отцу с криками: «Негодяй, мерзавец! Подсунул мальчику свою девку! Бог тебе не простит. Никогда. Так и знай». А что она кричала ему, своему сыну: «Я тебя ненавижу так же, как твоего отца! Убирайся! Вон из моей жизни!» Его реакцией тогда был резкий скачок адреналина в крови — голос стал резким, визгливым. Он уже не помнил, что кричал в ответ, и когда они, ошеломлённые сказанными страшными словами, остановились — поняли, что преступили порог дозволенного, эти двое, безумно любящие друг друга человека, мать и сын. В то время он не сознавал, каким ударом для матери, ещё молодой и красивой сорокалетней женщины, был его роман и последовавшая за ним женитьба на Тане. В предшествующее, довольно длительное время, он не раз замечал, что отношения между родителями сильно изменились. Они стали жить в разных комнатах и отдельно питаться. Иногда эти периоды сменялись видимым согласием, и только потом он понял, что согласие было показным, под давлением матери, которая, считая его ребёнком, скры-

вала от него семейный разлад и всё сглаживала. Когда отец исчезал, объясняла исчезновение командировкой. И в тот раз, когда отец очередной раз отсутствовал, Гена случайно встретил его в кафе. Отец был не один, и, несколько смутившись, представил сына своей спутнице. Это была Таня, с любопытством разглядывавшая его, и от её несколько насмешливого взгляда он покраснел, как краснеют только рыжеволосые люди. А через несколько дней Таня позвонила ему с просьбой о встрече, и он сразу узнал её чуть-чуть хриловатый грудной голос. Встреча, во время которой она предполагала объясниться с ним по поводу отношений с его отцом, совсем неожиданно приняла другую окраску. Об отце было сказано всего несколько слов, потом он как бы отошёл в тень, исчезла и неловкость предпосылки, побудившей к встрече, отпала и разница в возрасте, как незначительная помеха, которую и в расчёт-то принимать не стоит, и остались только двое, «он» и «она». События развивались стремительно, как в калейдоскопе: разрыв с родителями, рождение сына, брак, эмиграция. Первые дни на этой земле были подобны шоку — казались ирреальными. Как во сне — стоит проснуться, и всё встанет на свои места. Порой он даже щипал себя, думая, что спит. Постепенно втягиваясь в здешнюю жизнь, всё же не переставал жить с ощущением временности происходящего. А постоянное копание в себе, разладившиеся взаимоотношения с Таней, день ото дня всё более сложные, мучительные, запутанные, в которых он винил больше себя, только усиливали это ощущение. Возможно, он продолжал ещё любить, но было нечто, что оскорбляло и мучило его. Последнее время радость приносили редкие минуты общения с сыном, маленьким Рыжиком, скопировавшим его со стопроцентной точностью. Работа, в том числе «чёрная», сводили эти минуты к минимуму. Постоянная же нехватка денег, экономия во всём, лишали рассудка: счета, счета, бесконечные счета — абсолютно за всё. Его удивляло отсутствие счетов за воздух, которым они дышат. Легенда о «крае в шалаше» терпела крах не только от навалившихся трудностей. Он занимался самонестязани-

ем, чувствуя своё предвзятое отношение к Тане, лелея в душе «любовь-ненависть», но ничего не мог с этим поделать. А оттого, что она оставалась по-прежнему нежной и любящей, ненавидел себя ещё больше. Его мучили противоречия: её голос, прежде манящий, стал раздражать, ему хотелось бежать подальше от этого голоса. Расстаться? Но как тогда жить, ведь жизнь утратит привычную частицу тепла. И оставаться не было сил. Пока... Всё казалось ошибкой — любовь, приезд в эту страну. Он с нетерпением ожидал и в то же время боялся встречи с матерью, которая ехала к нему в гости. Несколько месяцев назад, когда она позвонила и он услышал родной голос, у него как будто остановилось сердце. Как соединить несоединимое? Возможно ли? И хочет ли он этого? Допив свой кофе и выкурив очередную сигарету, он тихо вышел из квартиры и пошёл к машине. Иерусалимская ночь была холодной и ясной. С неба светили тысячи звёзд, где всё о всех написано, прошлое, настоящее, будущее. Нужно лишь уметь это прочесть. Он завёл машину и медленно поехал в аэропорт.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Мальчик стоял перед витриной большого универсального магазина и разглядывал манекены. Собственно, даже не разглядывал. Он был знаком с ними и всё о них знал. Они были его приятелями, одушевлёнными, в отличие от «манекенов», пробегавших за его спиной и спешивших по своим делам. Он приходил сюда почти каждый день, подолгу простаивая тут и разговаривая с ними. Он называл их по именам, знал их привычки и пристрастия. Ему хотелось быть одним из них и так же, как они, с лёгкой долей презрения и отстранённости, взирать на то, что происходит по другую сторону витрины. Одним словом — это были его друзья, и им поверял он свои тайны.

Сегодня он долго стоял молча, согревая своим теплом стекло и тоскуя о непонятном. Он вглядывался в лицо Фрэда, а Фрэд был его кумиром, и не мог

понять, отчего напряжение свело тому скулы. Даже его ослепительная улыбка казалась искусственной. Мальчику хотелось походить на Фрэда и он подражал ему. Но, как ни старался, ничего не получалось. Всегда элегантный и подтянутый, в песочных брюках и клетчатом пиджаке, с шарфом, переброшенным небрежно, но только на первый взгляд, через плечо, в мягкой фетровой шляпе и с неизменной сигарой, зажатой в уголке улыбающегося рта, Фрэд являл собой дружелюбие и отчуждённость одновременно. Отчуждённость выдавали его глаза, остававшиеся холодными и грустными. Мальчику казалось, что причиной тому был Роберт, которому также трудно было отказать в элегантности, хотя он и предпочитал спортивный стиль, и который оттеснял Фрэда от нарядной красоты, которую мальчик почему-то прозвал «крысоткой». Нет, она безусловно была хороша. Но было в её лице нечто хищное. Глаза, чуть навывкате, чёрные и пронзительные, какие-то пугающие. Мальчик боялся встречаться с ней взглядом. Ему казалось, что своей улыбкой она раздавит его, а затем проглотит. Он только скашивал глаза, чтобы ещё раз убедиться, что она желает одного — быть центром Вселенной. Ей необходимо было поклонение всех, а не одного. Вообще-то, мальчик не понимал, отчего Фрэд, такой интеллигентный и тонко чувствующий, мальчик был убеждён в этом, так увлечён «крысоткой», этой вызывающей, вульгарной, отдающей всем красотой. И почему он так равнодушен к Люси, которая всегда как бы бежала сзади, догоняя Фрэда. Люси была любимицей мальчика. Вся какая-то светлая, распахнутая навстречу ветру, с развевающимися пепельными волосами и зелёными, как лист, глазами.

Но сегодня мальчик был шокирован — Люси забыла одеться. А может, она сделала это нарочно? Сегодня Люси не бежала за Фрэдом, а сидела в кресле. Абсолютно обнажённая. На ней были только чёрные, солнцезащитные очки, хотя на улице моросил дождь, и пробегавшие за спиной мальчика «манекены» кутались в плащи. Во рту Люси держала цветок орхидеи. Что это, вызов? Она решила показать Фрэду, какова

она на самом деле? И Фрэд действительно как-то развернулся, оглядываясь на неё. И хотя он продолжал улыбаться, его глаза по-прежнему оставались холодными, в них явно проступала насмешка. Зачем? Зачем она так унизила себя? Мальчик чуть не плакал. Люси, которой он грезил во сне и о прелестях которой только смутно догадывался, выставила себя во всей наготу ему, Фрэду, всей улице. И пробегавшие за спиной мальчика «манекены» бросали в её адрес что-то обидное и двусмысленное.

Рассердившись, мальчик пошёл домой. Дома к нему приставали, заставляя выпить перед сном стакан молока, которое он ненавидел из-за покрывавшей его пенки. Всю ночь промаявшись, он никак не мог соединить вместе Пространство и Время, где-то звенели кастрюли и кто-то говорил ему: «бай-бай».

А утром, перед школой, он опять побежал к магазину. Ещё издали его что-то больно ударило в грудь — витрина была пуста. Только в углу стояла искусственная пальма, не отбрасывавшая тени. Рядом с ней на полу валялись чёрные очки и увядшая орхидея, принадлежавшие Люси. Мальчик догадался, что ночью здесь разыгралась драма, но он никогда не узнает, что же произошло на самом деле. Ему было больно и горько — он потерял друзей, которых успел полюбить. Кроме них, ему не с кем было говорить о сокровенном. А за его спиной всё так же пробегали «манекены», равнодушные друг к другу, равнодушные к чужой боли и беде.

ЗАПАХ ЦВЕТА

Нитки встрепенулись. Крышка, столь долго закрывавшая шкатулку, приоткрылась и вовнутрь хлынул свет. Нитки заволновались, затрясли своими катушечными головками, распушая свои ворсинки и отыскивая конец нити. Они ревниво оглядывали друг друга. «Выбери меня, выбери меня!» — думала каждая из них. Каждая мечтала быть выбранной, втянутой в игольное ушко и, наконец, выполнить своё ос-

повное предназначение — следовать за иглой, никогда не расставаться с ней, как не расстается винтик с гасчкой.

Спокойными, но только на первый взгляд, оставались белые и чёрные нитки. Всё-таки они более своих подруг были востребованы, хотя те и относились к ним с презрением, как к простушкам. «Подумаешь, белые! — фыркали цветные. — Ну на что они годны? Что с них возьмёшь? Разве что пойдут на подшивку простыней. Никакой фантазии. Сплошная проза. Или чёрные? Фи, как мрачно!»

«Мрачно? — возмутилась чёрная. — Что вы понимаете, дурёхи цветные? Чёрное — всегда элегантно. Во все времена. При всех стилях. Чёрное — цвет любимых глаз, цвет волшебной ночи. Хотела бы я взглянуть на красные глаза. Ха-ха-ха!»

«Ха-ха-ха!» — покатались от хохота остальные нитки.

Красная, ещё более зардевшаяся от гнева, вскричала: «А восход солнца? А багряное зарево? А цвет крови, наконец? Что, съела, сажа? А вы, вертихвостки ссро-буро-малиновые! В моём лице вас оскорбили, а вы хохочете? Куриные мозги. И правильно, что вы сто лет тут проваляетесь, и никто вами не заинтересуется. Так и молодость пройдёт. Станете дряхлыми, вялыми — не быть вам wybranными».

«Простите, — робко спросила голубая шёлковая. А вас выберут?»

Красная рассмеялась: «Да, меня уж выберут, не сомневайтесь. Я не каких-то там голубых кровей. И хоть я не жажду подобного соседства, но многие предпочитают чёрное оттенить красным. Во всяком случае, красной нитью я пройду везде».

«А я — цвета незабудки, — не унималась голубая. А моя подруга, зелёная, — цвета молодой травы».

«Ну и что? — ответила красная. — Век твой недолог, незабудка. Да и травка пожелтеет и станет вот как эта», — кивнула она в сторону тусклых жёлтых ниток.

Жёлтая вздрогнула и, обращаясь как бы ни к кому конкретно, а так, ко всем, сказала: «Только что, или

мне слышалось, кто-то утверждал, что восход солнца красного цвета. Это просто смешно. Самомнение — плохой советчик. Все знают, восход солнца — золотистый. И нет среди нас способной изобразить солнечный луч. Так-то».

Красная хотела возразить, но кто-то прикрыл ей рот. Это была пожилая катушка серых суровых ниток. Она всё время стояла в стороне и молча наблюдала за сварой своих товарок. А тем временем кто-то вынимал из шкатулки одну за другой катушки и опять бросал их обратно. «Не то, не то», — произнёс чей-то голос. Крышка захлопнулась, и нитки снова погрузились в темноту.

«Ну, вот и всё, милые, — сказала серая, суровая. — А теперь, спать... спать... спать...»

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

Гуси-лебеди. Этим прозвищем награждала меня мама, когда хотела подчеркнуть упрямство, независимость или другие черты моего характера, которые не всегда нравились ей. Вообще, мама награждала меня разными эпитетами и, как я теперь понимаю, очень меткими и справедливыми. Например, обижаясь, выяснению отношений я предпочитала — молчание. «Камера-одиночка» — эпитет, характеризовавший такое поведение. С возрастом мы начинаем понимать, как правы были наши мамы. Вернёмся, однако, к нашим «гусям».

В детстве я была толстушкой. Но, как многие девочки, мечтала стать балериной, в крайнем случае — артисткой. Жили мы тогда в коммунальной квартире, но комната наша была большой и светлой. Между двух окон, выходящих во двор, стояло огромное старинное зеркало в чёрной резной раме. Когда никого не было дома, я, наряжаясь в мамины платья, танцевала перед этим зеркалом, воображая себя «Жизелью», «маленьким лебедем» или кем-то ещё. Музыка я обожала, балеты в оперном смотрела по многу раз. Взрослые, заставлявшие меня за этими «представлениями»,

добродушно подтрунивали надо мной. Только мама относилась серьёзно к моему увлечению. Мама была гинекологом, очень хорошим, и наблюдались у неё разные знаменитости. Среди них — директриса хореографического училища. Однажды, когда мне исполнилось пять лет, мы с мамой отправились к ней. Помню её добрую улыбку, встретившую нас. «Дорогой мой доктор! — сказала она маме. — Девочка прехорошенькая, но несколько полновата. Понимаете?» «Может быть, если начнёт серьёзно заниматься балетом — похудеет? — спросила мама. — Я хочу, чтобы она похудела». «Не волнуйтесь, — ответила директриса. — Не обязательно делать из ребёнка профессионала, у неё не та конституция. А петь и танцевать она будет — я обещаю».

Этого не случилось, но в том нет её вины. Спустя несколько дней она отвела меня в городской Дом пионеров, которым заведовала её бывшая ученица. Посоветовавшись, они решили, что самой приемлемой для меня будет художественная секция, в которой занимались и танцами и пением. Секцию я посещала с наслаждением, и через какое-то время у меня появились первые успехи — меня хвалили. Прошло полгода. Приближался какой-то пионерский праздник, и руководительница нашей художественной секции объявила нам, что предстоит большой концерт, к которому будем готовить сказку «Гуси-лебеди». Мне досталась роль одного из гусей, доверчивого и немного глуповатого, которого хотели завлечь в ловушку и съесть злые волк и лиса. Помните?

Гуси-гуси!

Га-га-га.

Есть хотите?

Да-да-да.

Так летите...

Репетировали целый месяц. Дома мне соорудили белый костюм, купили белые тапочки, белые носки выкрасили в красный цвет. Всё было готово к премьере. В назначенный день мы с мамой пришли в Дом пионеров. «Ты не забыла роль?» — тревожно спросила мама. Я снисходительно улыбнулась и, оставив её

и зале, побежала за кулисы. Концерт начался, наше выступление было запланировано в конце, и наша руководительница расставляла последние акценты.

«Дети! — сказала она. — Сейчас мы окончательно распределим роли. Понимаете, в сказке гусей меньше, чем у нас. Роли гусей сегодня исполнят...» — и она назвала имена, среди которых моего не было. Я стояла ошеломлённая, не слыша, как она распределяет роли несостоявшимся гусям. Наконец, до меня дошло, что она обращается ко мне: «Дорогая, ты сегодня сыграешь Печку. Будешь выталкивать её сзади на сцену и за неё говорить». Помните, в этой сказке печь сама выпекает пирожки? Задохнувшись от негодования и ничего не сказав, я пошла прочь со сцены. «Куда ты? Куда?! — кричала она мне вслед. — Вернись! У нас некому играть Печку!..»

Я не оглянулась, не плакала. Знала, что отныне я — только зритель. В костюме гуся вышла на улицу и пошла домой. С пионерским домом было покончено навсегда. Ничто и никогда не могло заставить меня переступить его порог. Но и сейчас, спустя десятилетия, я часто говорю себе:

— Ох, уж эти «Гуси-лебеди»...

Что приходит на смену любви? —
Зима... Так долго тянется.
Весны ушедшей не зови —
Ночь с тобою останется.

Обнажило зимнее солнце
Сердце... Далеко до лета.
Эхом немым дом мой полнится —
Время заблудилось где-то.

Каждый час вновь не сбывается.
Словно нехотя, но живёшь.
Всё когда-либо кончается —
Вдохом выдоха не вернёшь.

На книгу тень твоя легла.
Закрой последнюю страницу.
И вспомни всё: от «а» до «я».
Сошлись все дни, как в небылицу.

Послушай сердца странный тон.
То вдруг утихнет. То зайдётся.
Последней буквы этой стон
В стихе, быть может, отзовется.

Что слово? —
Когда так речь твоя пуста.
Былого? —
Я не отдам. Немы уста.

Из дали
Не возвращусь к брегам твоим.
Слагали
Стихи, где места нет двоим.

И голос
Звучит не наяву — внутри.
И молит.
Ему я говорю — замри.

Чем так природа мне мила?
Что, не скупясь, мне подарила?
Я в снах свободно была.
И тем она меня пленила.

Приют — во сне. Днём — сотни пут
Догонят снова между строк.
Меня, возможно, не поймут —
Мой день для сна сплошной предлог.

Пусть взгляд так небрежен.
Пусть.
Не рвёт наших прежних
Уз.

Связующей нити
Суть —
Безмолвный пантля
Путь.

И ночь ли накроет,
Свет?
Мы грусти не скроем.
Нет.

Расставание — смерть.
Но и встреча не лучше отныне.
Обжигающий смерч —
Никогда он в душе не остынет.

И сомнения — прочь.
На круги мне своя не вернуться.
Убегаю я в ночь —
И к былому боюсь прикоснуться.

Где моя Муза? —
Ушла не простившись.
Старые узы
Молчат, притаившись.

Что Музе чуждо —
В тревоге, в покое?
Что же ей нужно —
«Нечто» другое?

Вниг из-за грани
Способна вернуться.
Свежим дыханьем
Ко мне прикоснуться.

Что мне ответить? Что сказать?
И быть никем в толпе опять?
О чём подумать, наконец?
Про жалкий жребий? Иль венец?

Про след, оставшийся вдаль?
Про жизнь застрявшей на мели?
Что мне ответить? Что сказать?
Предпочитаю я молчать.

ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

АВГУСТ

Кралётся осень хитрой сводней,
Пододвигает лету сходни...
Деревья, те, что благородней,
Забыв про стыд, стоят в исподнем.
Другие, нравом посвободней,
Пылают жаром преисподней.
...Так будет завтра. А сегодня -
Преображение Господие.

* * *

Сдалась зима, не удержав
Последний, неприступный бруствер.
Земля, постели разбросав,
Вздыхает томно от предчувствий.
И, солнца тёплый луч познав,
Вдруг, потянувшись в резком хрусте,
Впадает, обнажив свой нрав,
В ошеломляющее буйство.

* * *

За семью печатями,
За семью замками
Скрыты испочатые
Тайны мирозданий.

За семью печатями,
За семью замками
Чётко отпечатаны
Имена созданий.

За семью печатями,
За семью замками
Спрятаны понятия
О грехе, о сраме.

За семью печатями,
За семью замками
Тайна есть зачатия.
Кто ты? Каши? Авель?

* * *

Чёрная туча
Снова нависла,
Сырость липуче
Чавкает снизу.
Чёрная туча
Снова нависла,
Ветер в падучей
Бьёт по карнизу.
Чёрная туча
Снова нависла,
Выдался б случай:
В Рим! К кипарисам!
К травам пахучим,
К берегу Вислы,
В Вальпарансо!
В Вальпарансо!
Выдался б случай...
«Выдайте визу!
Ту, что получше:
Вечным круизом».
Чёрная туча
Небо изгрызла...
Боже, дел куча!
Чайник замызган...

* * *

В безверьи, нищете и брани,
В угарной, мелочной тшете
Живу в стране многострадальной
И строю дом... своей мечте.
Он не резной, он не зеркальный,
Мой дом — преграда суете.
Мне дали знать из дали дальней:
«Ищите и обрящете.»

* * *

Пока огонь желаний не угас
Мне б сутки увеличить хоть на час.
И не потом, не позже, а сейчас.
Я б их наполнила от края и до края.
Мне б в ритм войти, я жить не успеваю.

* * *

Я такой не помню ночи
Томной очень, тёмной очень.
Что ли ангел-ангелочек
Обесточил проводочек?
Я такой не помню ночи
Полной вздохов, многоточий,
Ночи б — врезанный замочек,
Ночи б — фиговый листочек.
Всё твержу я, как начётчик,
Что такой не помню ночи
Томной очень, тёмной очень,
Ночи не было короче.

* * *

В венах сидящее,
Вечно саднящее,
Уничтожению
Не подлежащее
Не проходящее
И не пропащее
Прошрое. Может, оно —
Настоящее?

* * *

Т.С.

Когда уходит солнце
В смирительную тень,
Убогость и уродство
Отбрасывает день.
Вскипая от эмоций,
Смешая суть вещей,
Стремится к руководству
Вонючая чернь.

Молитва

Поперхнулось сердце,
Захлебнулось сердце,
В сумасшедшем скерцо
Нет, я не хмельна!
Поперхнулось сердце,
Захлебнулось сердце,
В сумасшедшем скерцо
Были мы — страна.
Поперхнулось сердце,
Захлебнулось сердце,
В сумасшедшем скерцо
Стали — племена.
Бог, помилосердствуй!
Все мы — страстотерпцы.
Мы — не корень бедствий.
Мы — их семена.

* * *

Как мгновенно кора на кустах изменила свой цвет,
Перетекши из серого, бурого в светло-зелёный.
Неуклюжие ветви разбросаны, будто во сне,
Слабо переливаются панцирем хамелеона.
И в тугих бугорках зародились комочки детей,
Как припухшие дёсны младенцев, зудят воспалённо,
Чтоб наутро прорезаться, вскрыться, явиться на свет
Молодыми листками, глядящими в мир изумлённо.
Уводит, уводит тропинка кривая
От речки-болотца, от старого гая,
От сговором сходства, от лязга трамвая,
От кровного сродства с утерянным раем.

* * *

Уносит, уносит тропинка кривая,
И лес остаётся, и поле без края,
И раструб колодца, и ласточек стан,
И ниточка рвётся и не отлипает.
Несётся, несётся тропинка кривая,
И сердцу неймётся, и слёзы не тают.
Не нужно бороться: слеза исцеляет.
Ведь дождь когда льётся — всю пыль прибывает.

Несётся, несётся тропинка кривая...
Дробинка к дробинке в кровинку: куда я?

АННА СОХРИНА

ФРАУ КАЦ И ФРАУ ФОГЕЛЬ

По пятницам фрау Кац ходила мыть полы в особняке фрау Фогель. Еще пять лет назад, в Питере, фрау Кац звалась Кирой Львовной и была начальницей отдела снабжения одного строительного треста. Сидела в большой комнате с лепными потолками (учреждение размещалось в старинном петербургском особняке) «с тремя телефонными трубками на голове сразу», как выражалась ее секретарша Ирочка. И ором, ласковым убедительным шепотом, начальственной интонацией с нотками металла, просьбами и угрозами выбивала столь необходимые тресту кирпичи и цемент. Объекты строились постоянно, и поставки должны были идти сплошным потоком без простоя. День был спрессован до отказа. Вечером слипались глаза.

— Оленька, что в институте? — спрашивала она дочь.

— Сеня, у тебя все в порядке? — привычно окликала мужа.

И, не дослушав ответа, засыпала.

Но тут грянули годы перестройки... В управлении подудли новые ветры, трест с треском развалился за пару месяцев, словно выстроен был из песка и соломы, как в известной сказке про трех поросят. И Кира из солидной, влиятельной дамы враз стала никем.

А муж Сеня, напротив, «поднялся». Из заводского инженера превратился вдруг в «нового русского», сколотил свое дело, посадил в приемной молодую длинноногую секретаршу, крашенную под блондинку. Стал часто задерживаться допоздна, что-то сбивчиво объясняя, а затем и вовсе перестал ночевать дома. Дальше — больше: через полгода выяснилось, что секретарша беременна и почти на сносях, а Сеня мечтает о сыне.

— Я всю жизнь тебя о сыне молил! Ты меня слышала? — кричал он побелевшей от ужаса Кире. — Да у меня жены никогда не было! Что тебя волновало, кроме твоих кирпичей и цемента?

Словом, 23 года семейной жизни полетели коту под хвост со свистом, словно и не было семьи, дома, а так, театральная декорация. Три месяца она пролежала, глядя в потолок, почти без движения. Жизнь проносилась перед глазами кадрами заношенной киноплёнки: институт, молодость, свадьба с Сеней, рождение Оленьки и работа, работа, работа... Искрошилась, рассыпалась, истаяла жизнь бледной тенью на стене, — мираж, призрак...

Оленька приходила с очередным кавалером, стояла у постели матери, покачиваясь на высоких каблучках:

— Мам, тебе чего-нибудь надо?

— Ничего, дочка...

Зашла как-то секретарша Верочка, притащила полную сумку оранжевых апельсинов. Рассказала, что знакомая докторша организовала специальную группу психотренинга и психологической поддержки.

— «Клуб покинутых жен» называется, — сказала Верочка и помахала в воздухе рукой. — Ой, да там все такие, как вы...

«Клуб покинутых жен» помещался в старом здании больницы, в ветхом, требующем ремонта флигелке. Кира зашла, посидела, послушала и осталась.

Посетительницами были сплошь жены «новых русских», в основном женщины за пятьдесят. История появления шальных денег и, как следствие, блондинки-секретарши была до неприличия банальна. Слов-

но кто-то сыграл с ними всеми расплывчатый по нотам голливудский сюжет, один на всех, без изменений. Докторша-психотерапевт была симпатичная молодая женщина с ямочками на щеках. Занятия начинались одинаково:

— Полюбите себя, пожалуйста,— строгим голосом говорила доктор. — Не мужа, не детей, не работу... Полюбите, пожалуйста, себя.

Хождения в клуб странным образом помогли, и в жизни начали появляться какие-то краски. Сперва легкие пастельные оттенки, а потом и яркие, густые тона.

— Полюби себя, пожалуйста, — копируя интонацию докторши, говорила в телефонную трубку Кира своим замужним подругам, находящимся в состоянии частого уныния. — Никто о тебе не позаботится, если ты сама о себе не позаботишься.

А тут Оленька разругалась со своим очередным кавалером, сходила в немецкое консульство и подала документы на отъезд:

— Начнем, мам, новую жизнь с новыми людьми и новыми планами. Тебе здесь всё равно на пенсию не прожить, только в нищете сдохнуть, а наш папочка теперь, сама знаешь, «молодой отец». Его секретутка всё к рукам прибрала.

Денег и впрямь катастрофически не хватало. Змеились трещинами и осыпались потемневшие потолки, ветшала мебель, зимнее пальто, когда-то такое дорогое и модное, всем на зависть — «Ах, Кира Львовна, вы все-таки умеете одеваться!» — залоснилось до неприличия, стыдно выйти. Заходя в магазин, считала мелочь: купить лимон к чаю или кулек печенья, его Оленька любит. Но последней точкой, заставившей страстно захотеть уехать, стала сцена в магазине.

Кира, купив полкило сосисок, неловко завернула пакет, и розовый довесок покатился по полу, лег под батарею. Высокая худая старуха с морщинистым, когда-то красивым лицом в чем-то старом и обтрепанном, с надеждой уставилась на Киру — будет ли нагибаться и подбирать? Кира торопливо достала из пакета связку сосисок, сунула их старухе. А потом весь

вечер терзалась ужасом и страхом - не ждет ли ее та же участь. Вглядывалась с пристрастием в черную гладь зеркала — сеть морщинок, седая прядь...

Разрешение на выезд пришло довольно скоро. И началась лихорадка отъезда. Выяснилось, что из вещей продавать почти нечего, кроме маминих серебряных ложек, доставшихся по наследству, — за столько лет и не нажили ничего. С трудом наскребли денег на билеты. Оленьке 800 долларов дал отец, расщедрился вдруг напоследок. Даже провожать пришел. Кира посмотрела на него и ничего не отозвалось в сердце: чужой, поседевший и погрузневший человек пришел попрощаться перед дорогой.

В Дюссельдорфском чистеньком и сверкающем аэропорту — вот он, запад с его запахом богатства и благополучия, — их встретила Кирина подруга, два года назад эмигрировавшая в Германию. Был вечер, машина неслась по автобану, мигало, переливаясь, разноцветное море огней. Сытая, богатая, благополучная и чужая жизнь расстилалась за окнами автомобиля...

А через год Кира пошла мыть полы к фрау Фогель.

— Германия все же поставила меня на колени... Пол мою на коленях, иначе спина болит, — говорила она по телефону своей новой приятельнице, инженерше из Львова. — Зато 15 марок в час.

Жизнь медленно, но все-таки устраивалась, Кира получила отдельную социальную квартиру. Оленька училась в университете и завела себе бой-фройнда студента, черноглазого парня из Марокко, араба.

«Прадедушка-раввин в гробу бы перевернулся», — вздохнув, подумала Кира. — «Да что уж теперь, мы и сами в Германии... Время и место все меняет».

Да, время и место поменяло многое. На массу вещей Кира научилась смотреть иными глазами. Первые полгода тосковала ужасно, уносились в снах каждую ночь в родной Питер, бродила там по набережным, просыпалась в слезах. Потом привыкла, оценила комфорт и удобство западного быта, съездила на недельку в Париж, на три дня в Люксембург. Появи-

лись новые знакомые, такие же эмигранты, как она сама. И выяснилось, что жить, пожалуй, можно, и что количество забот и радостей везде примерно одинаково.

Фрау Фогель, хозяйка особняка, ухоженная, аккуратно причесанная женщина под шестьдесят, с поджатыми губами, сперва Кире не понравилась. Провела в дом, показала, что надо вымыть, предупредила, чтобы была осторожна, вытирая пыль, — в комнатах много ценных фарфоровых статуэток. И все три часа уборки маячила за Кириной спиной, следила придирчиво, что и как та делает. «Интересно, она одна живет в этих хоромах?» — подумалось Кире. Прополоскав мокрую тряпку в ведре и тяжело разогнувшись, Кира на мгновенье замерла, рассматривая незнакомую картину на стене:

— Это Моне? — произнесла она вопросительно.

Фрау Фогель удивленно изогнула бровь:

— Вы разбираетесь в живописи?

— Да, — ответила Кира. — И неплохо. Я люблю живопись, — и опустилась на колени, мыть пол.

Через пару дней она пошла с приятельницей, все той же инженершей из Львова, в филармонию. Приехал Ростропович с Лондонским оркестром, в зале то и дело слышалась русская речь. На концерт пришло много нашей эмиграции, тех интеллигентных седеньких старушек, которые имели многолетнюю привычку посещать филармонию в Москве и Питере, а сейчас выстояли трехчасовую очередь, чтобы из отложенных со скудного социального пособия денег купить дешевый билет. В антракте, прогуливаясь в вестибюле, Кира столкнулась с фрау Фогель. Та замерла ошеломленно, округлив глаза.

— Вы любите музыку? — улыбнулась ей приветливо Кира.

В следующую пятницу, когда Кира уже собиралась одеть свой рабочий халат и приступить к уборке, фрау Фогель встала у двери и жестом остановила ее:

— Расскажите мне о себе, — и провела Киру в столовую, где на красиво сервированном подносе дыми-

лось в тонком фарфоре кофе.

Какой там разговор на Кирином немецком?! Однако, как ни странно, через пять минут они отлично понимали друг друга. Рассказывала в основном фрау Фогель.

— Вот уже пять лет живу одна, а все никак не могу привыкнуть, — подперев щеку, жаловалась она.

— А муж? Умер? — посочувствовала Кира.

— Нет, жив-здоров и живет с другой женщиной.

— И у меня муж ушел жить к другой женщине, — созналась Кира. — Но у меня есть дочь.

— А у меня сын, — и фрау Фогель ушла в другую комнату, принесла альбом с фотографиями, с которых, меняясь и взрослея, смотрело лицо худосочного блондинистого юноши.

— Петер серьезный специалист, у него в Гамбурге своя фирма, — с гордостью сказала фрау Фогель. — Он очень занят и приезжает ко мне только два раза в году. Что делать, у детей своя жизнь, — покачала она головой.

— У детей своя жизнь, — рефреном откликнулась Кира.

Возникла пауза, обе женщины вздохнули и посмотрели друг на друга, задумавшись, молча..

— Ну, мне пора работать... — поднялась Кира в некоторой растерянности.

— Постойте, у вас же болит спина, я вижу... Не надо сегодня пылесосить в большой комнате. Я вам дам хорошую мазь, будете натирать ею поясницу, и станет лучше. Я знаю, у меня тоже проблемы с позвоночником.

Теперь они каждый раз после уборки пили вместе кофе, и их беседы все затягивались и затягивались. Фрау Фогель рассказывала Кире по кусочкам историю своей жизни. По иронии судьбы ее муж тоже, получив продвижение по службе, ушел к секретарше, которая родила.

— Я слишком много работала и была увлечена своей карьерой, и ему, наверное, не хватало моего внимания... — горевала она. — Но когда я поняла это, было уже поздно.

«Смешно, — подумалось Кире, когда вечером она возвращалась домой в плавно покачивающемся трамвае. — Я, “социальщица”, “пуцфрау” из России, эмигрантка без гроша за душой, и она, хозяйка особняка... И так все одинаково. Такая же брошенная одинокая женщина».

Ныла спина, маняще светились витрины дорогих магазинов на центральной улице. Кира вышла на остановку раньше и решила немного пройтись пешком: «Странно, как человек быстро ко всему привыкает. Раньше казалось: за граница, шикарные тряпки, чистота, порядок... А одиночество остро и одинаково везде».

А Фрау Фогель все больше привязывалась к Кире. Ждала с нетерпением на пороге, обнимала радостно, пыталась дарить ей свои вещи из обширного гардероба. А в одну из пятниц заговорщицки поманила ее пальцем и вручила билет на концерт: выступление хора донских казаков.

— Приезжают твои земляки, — торжественно произнесла она. — Они тоже из России. Тебе будет приятно. Мы пойдем вместе.

— Да, они тоже из России, — с иронией подтвердила Кира. — Спасибо.

Но фрау Фогель иронию не поняла.

Казачьи пели и плясали на совесть, дробно и слаженно топотали каблуками на сцене, и зал долго аплодировал им стоя. Немцы вообще, как заметила Кира, всегда бурно реагировали на темперамент и открытое проявление чувств. «Потому что сами малохолдные», — подумала Кира. После концерта они с фрау Фогель прогуливались по набережной Рейна. Было тепло и многолюдно. По реке взад и вперед, как стрелки на пруду, скользили прогулочные парходики с нарядной публикой, развевались на ветру разноцветные флаги, играла музыка.

— Почему ты работаешь, Кира? — спросила фрау Фогель.

— Пособия не хватает... И дочь учится, хочу ей помочь. А ещё, хочу осенью поехать к сестре в Израиль.

— Ты юде? — замедлила шаг фрау Фогель.

— Я думала, вы знаете, — взглянула на нее Кира. Фрау Фогель порывисто пожала ей руку:

— Мой отец в годы войны спас одну еврейскую женщину. Она ждала ребенка и была дочерью его коллеги. Он прятал её в подвале нашего дома, а потом помог переправиться в Швейцарию. Он рассказывал нам об этом с гордостью после войны. Мой отец был очень добрым.

— А мой отец погиб где-то в Германии за месяц до конца войны, и я не знаю, где он похоронен.

— О! — взволнованно воскликнула фрау Фогель. — Мы обязательно найдем его могилу!

Прошел месяц, Фрау Фогель сосредоточенно писала куда-то письма и звонила. И настал день, когда она торжественно поманила Киру и вручила ей длинный конверт с затейливым штемпелем:

— Это ответ из архива. Твой отец похоронен под Дрезденом, на воинском кладбище в братской могиле.

Кире даже нехорошо стало, застучала в висках кровь, закружилась голова. Вспомнилась мать, сидящая на кровати незадолго до смерти, сухонькая, седая:

— А папа тебя очень любил. Ножки, ручки целовал тебе маленькой. А где могилка его мы даже и не знаем... А мне уж теперь и не узнать.

Кирина отец ушел на фронт, когда ей было четыре года. В самом конце войны пришла похоронка, пал смертью храбрых. А где захоронен, советский архив отвечал туманно: на территории Германии... Где они с мамой, где та Германия? Не поехать, не поклониться...

Фрау Фогель захлопотала, принесла валериановых капель, усадила Киру в мягкое кресло:

— Мы обязательно туда поедем. Я тебе помогу... Под Дрезденом у моего кузена дом. Вот станет теплее, и поедем.

Вечером Кира первым делом позвонила дочери. Та прореагировала бодро:

— Повезло тебе с немкой, а то, знаешь, какие стер-

ны попадают... — и стала рассказывать про хозяйку ночного бара, где подрабатывала со своим фройндом.

— Я же могилу твоего дедушки нашла! — пыталась остановить ее Кира: черствые дети выросли, не родственные какие-то, а кого винить, кроме себя?

Поездку под Дрезден решили отложить до лета. Надвигалось другое путешествие, давно задуманное и желанное, к двоюродной сестре Сонечке в Израиль. С Сонечкой они росли вместе и когда-то были очень близки.

Сонечкины пылкие объятья в вечернем Тель-Авивском аэропорту, и жара, в которую окунулась сразу же, сойдя с трапа самолета, и ощущение радости и тепла, — сопровождали всю Кирину израильскую поездку. Причиной ли тому была повсюду слышащаяся русская речь и какая-то домашность этой страны, где ее ждали, возили, расспрашивали и вкусно кормили многочисленные друзья и родственники, но только в Израиле Кирина душа странным образом обогрелась и воспряла, как в лучшие времена. Назад она возвращалась совсем другой Кирой — помолодевшей, загорелой, полной планов и оптимизма. В Германии ее ждали новости. Оленька потыкалась ей носом в ключницу, что означало у нее высшую степень привязанности и, набрав в легкие воздуха, сказала:

— Мамочка, ты только не волнуйся, но я беременна. Выхожу замуж, и мы уезжаем в Марокко. У Ахмета там дом, а у его отца крупная фирма, — выпалила она залпом, словно боясь, что мать прервет ее и не даст договорить до конца.

У Киры даже дыхание остановилось, судорогой свело горло. Как же так? Оленька уезжает. А как же она?

— Мамусик! Ну не переживай! Мы будем часто приезжать, вот увидишь... И ты ко мне приедешь, — она виновато заглядывала ей в глаза, как когда-то в детстве маленькой девочкой, провинившись и желая поладить сделанное.

У Киры все поплыло перед глазами.

— Ну, мамочка... Внук у тебя будет или внучка,

будешь нянчиться, мне помогать...

Кира устало опустила на стул, ноги не держали:

— Где я, а где то Марокко?..

— Ну все устроится, вот увидишь... Ты только потерпи.

На следующий день Кира пошла к фрау Фогель. Фрау Фогель сидела у окна в своем любимом кресле и смотрела в сад, где пылали ярким пламенем цветения кусты пиона. Когда она повернула голову, Кира увидела опухшие заплаканные глаза.

— Кира! Наконец-то! Я так тебя ждала! — Фрау Фогель почти бежала ей навстречу. — Петер женится и уезжает в Америку. У него контракт на пять лет. А я... Я уже не доживу... Я и сейчас его так редко вижу, — закрыла она лицо руками.

— А у меня,— проговорила Кира, мысленно ахнув и вновь поразившись странной схожести их судеб, — у меня Оленька уезжает...

Фрау Фогель порывисто обняла ее и они заплакали, не сговариваясь, вместе. Так они и просидели весь этот вечер на исходе лета, две одинокие, казалось бы совершенно чужие друг другу женщины — одна хозяйка особняка, богатая ухоженная немка, другая ее «плицфрау», бывшая инженерша, еврейка из России, случайная щепка, занесенная в страну шальным ветром перемен.

— Ну, ничего, мы проживем...— фрау Фогель все поглаживала Киру по руке. — Теперь не страшно, теперь у меня есть ты...

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

* * *

Что в скорбный час с собой я унесу?
Ни рассвета раннего красу,
ни заката гаснувший огонь...
Голос был мне: «Не бери! Не тронь!»
Сказочно, загадочно, пестро —
неделимо Вечное Добро!
Унеси с собой свою любовь,
горечь от пустых прощальных слов,
Богом не прощённые грехи
да свои нелепые стихи.
— Мало мне! — в слезах взмолился я. —
Так богаты Небо и Земля!
Дайте мне ту Звёздочку одну,
у которой я томлюсь в плснуг!
«Нет! — ответил снова голос тот, —
Не позволит это Звездочёт.
Той Звездой в расцвете юных лет
вдохновится истинный Поэт».

...На устах с застывшею мольбой
что я унесу в тот час с собой?

* * *

Мелодии искрятся красотой,
то мягкое, то сильное туше,
и будто свет возник в моей душе,
лишённой полупочного покоя.

Огромен мир и в то же время тесен...
Йоганнес Брамс...Скажу, боготворя:
Бессонной ночью был утешен я
«Фантазией на темы русских песен».

Не отличу диеза от бемоля,
и звукоряд даётся мне с трудом.
Шесть русских песен в мой явились дом,
внезапно узнаваемы до боли.

Августине Густовой

Обычные, казалось, руки,
но вот божественные звуки
явились из-под рук — и вдруг
поплыли, услаждая слух.

Всё в этих звуках прозвучало,
им нет конца, но есть начало -
начала света и добра
в одном понятии — ИГРА.

Нам дарят царственные звуки,
касаясь клавиш, эти руки.
В них - море нежности и силы...
Как жаль: им места нет в России.

РАЗГОВОР С ДРУГОМ

*Памяти старшего лейтенанта
Крамера, военкора времён Великой
Отечественной войны.*

Мой верный друг, придирчивый и строгий,
ты не ушёл из памяти моей.
Всё позади: разлуки и дороги,
а ты со мною до последних дней.

Из бешеной газетной круговерти
ты рвался к тем, кого бросали в бой.
Ты без боязни говорил о смерти,
но не терпел насмешек над собой.

И как-то перед боем без бравады
сказал мне, чуть смущаясь: «Не робей!

Случись, погибну — тосковать не надо:
ты будешь сыном матери моей.

А если вдруг с тобою что случится —
и дочь твоя останется одна,
на друга можешь смело положиться:
сиротства не почувствует она».

...Мой верный друг, придирчивый и строгий,
ты не ушёл из памяти моей.
Всё позади. Друзей ушедших много.
А ты со мною — до последних дней.

* * *

Помнишь, друг, мы на верность клялись?
Нас судьба по земле разбросала...
Злая воля или детский каприз?
Но живём. Разве этого мало?

Нам чужая земля - не родня.
Нелегко начинать всё сначала.
Здесь бессоница мучит меня...
Но живём. Разве этого мало?

На судьбу обижаться нельзя:
Дружба нас столько лет согревала!
Злополучная наша стезя...
Но живём. Разве этого мало?

Как же мне не хватает тебя!
Мало встреч нам судьба даровала.
Трудно сердце отдать, не любя...
Но живём. Только этого мало.

* * *

Рядом, совсем рядом
ложатся уже снаряды,
близко совсем ложатся...
К земле ли комком прижаться?

Без шума, без треска, без взрыва
волны в глазах наплывом
и сердце всё тише и тише —
звон колокольный слышен.

Будто зовёт куда-то...
Это за что расплата?
За редкое счастье, что ли?
За страхи, сомненья и боли?

За то, что в никафу пылится,
перешагнув границы,
груз орденов и медалей?
Рядом — глаза в печали

смотрят в лицо родное:
— *Милый мой, что с тобою?*
— *Не плачь, родная, не надо...*
Снаряды ложатся рядом

БОРИС ЦЕРЕПАШЕНЕЦ

ОБЫСК

Поздним мартовским вечером первого послевоенного года в квартире Якова Шмуклера, месяц назад вернувшегося из Австрии после демобилизации, раздался звонок. Яша и его старушка-мать, вдова, никого в тот вечер не ждали.

— Кого это чёрт несёт? Да нет, наверно, детишки балуются, — подумал полусонный Шмуклер и не пошёл открывать.

Но снова раздался продолжительный звонок. Недовольный хозяин посмотрел в глазок. На лестничной клетке стоял военный.

— Откройте, милиция.

В прихожую вошёл офицер в обычной армейской форме с погонами капитана.

— Товарищ Шмуклер?

— Так точно.

— Прошу пройти вместе со мной в квартиру гражданина Берана. Нам необходимо произвести у него обыск. Вы нужны в качестве понятого.

Лев Миронович Беран, его жена Софья Ивановна и их сын Игорь жили со Шмуклерами на одной лестничной площадке, дверь в дверь. Бераны были добрыми соседями, вежливыми и отзывчивыми. С Игорем Яша учился в школе в одном классе. Беран-отец работал на «Мосфильме» снабженцем. После войны

из немецкой киностудии в Бабельсберге, что под Берлином, в Союз пошёл поток кинотехники, всяческой оптики, киноплёнки и прочего добра. И, как утверждала всё знающая дворничиха, бойкая татарка Равиля, разбогатели на трофеях Бераны чрезвычайно. Хотя и без этого Лев Миронович и Софья Ионовна слыли в многоквартирном доме людьми состоятельными.

Мама Якова, пенсионерка, бывший провизор, в тяжёлые военные годы жила очень скудно. Денег, которые по аттестату переводил ей старший лейтенант Шмуклер, едва хватало на пару буханок хлеба на чёрном рынке. Сердобольная Софья Ионовна, чем могла, постоянно помогала одинокой вдове. Яшина мама говаривала сыну, что не пережила бы войну, если бы не Бераны.

— Капитан, а можно без этого? Набегался сегодня, устал, спать хочу...

— Вы, товарищ Шмуклер, офицер запаса, фронтовик, член партии, и отказываетесь от выполнения патриотического долга? Подумайте хорошенько: бокком бы не вышло.

И Яша, который за годы войны так много повидал и пережил, дважды раненный, вроде ничего уже не боявшийся, дрогнул. Впитанный с молоком матери страх перед советскими карательными органами был непреодолим. Надев гимнастёрку и кавалерийские брюки-галифе, проклиная про себя всё на свете, он поплёлся к соседям.

В просторной, богато обставленной квартире Беранов было тесно. Милиционеры, понятые — Яша и невозмутимая, с любопытным блеском в чёрных узковатых глазках дворничиха Равиля, — испуганные ночным вторжением хозяева.

Яша смущенно улыбался, как бы говоря: «Вы уж меня извините, пожалуйста, за участие в этом непочтенном деле».

Софья Ионовна ласково взглянула на него, как бы отвечая: «Ничего, Яшенька, мы понимаем, что не по доброй воле ты тут».

Лев Миронович сидел в кресле подавленный, руки его заметно дрожали.

Капитан начал:

— Давайте, граждане, экономить время. Выкладывайте ценности: деньги, золото, бриллианты и так далее. Не выложите, произведём обыск и всё равно всё найдём, опыт у нас есть.

— Вся наша ценность, это наш старший сын, погибший за Родину на этой войне,— прокричала Софья Ионовна.

— Давайте, гражданочка, без демагогии, наслаивались уже! — оборвал ее капитан.

— Как вы смеете так разговаривать со старой женщиной? Я фронтовик, орденноносец, коммунист, накопец! — закричал Игорь.

— Не петушись, парень, ты коммунист, а мы суперкоммунисты. Начинайте обыск. А вы, товарищи понятия, будьте, пожалуйста, повнимательней.

И обыск начался. Очень скоро уютная и чистенькая квартира стала похожа на свалку. Сбитые набок висевшие на стене фотографии и картины, сорванные гардины и настенные ковры, выкинутые из шкафов одежда, бельё, растрёпанные книги и альбомы, оторванные обои, посуда, выставленная на пол. Появились вещи, обычно скрывающиеся от постороннего глаза.

Лев Миронович, понурив голову, безучастно наблюдал за обыском.

А между тем пачки денег и какие-то вещицы начали появляться на столе в центре комнаты.

С грустью Шмуклер глядел на это и думал: “Как же так: половина страны лежит в руинах, народ в страшной нужде, перебивается с хлеба на воду, а здесь у Беранов столько добра? Вряд ли им это удалось приобрести честным трудом. А с другой стороны, что это за власть такая, при которой граждане могут иметь то, чем владеет почти каждый австрийский обыватель, только вступая в конфликт с законом?”

Софья Ионовна одна сохраняла присутствие духа. Она всё время ходила около Яши, прижимаясь как бы ненароком то к одному, то к другому его боку. Ближе к утру обыск закончился. Равиля и Яша подписали протокол. Деньги, столовое серебро, золотые царские монеты, шикарную каракулевую шубу, несколько ко-

стюмов и кожаный реглан хозяина, две картины, старинные настенные часы с инкрустацией, трофейный радиоприёмник «Телефункен» и ещё кое-что по мелочи — изъяли. Льва Мироновича увели.

Вернувшись к себе и раздеваясь, Шмуклер с удивлением обнаружил в бездонных карманах своих галифе кольца, кулоны, браслеты, ожерелья, какие-то бусы. Так вот почему Бераниха так любовно к нему прикасалась во время обыска!.. Софья Ионовна умудрилась провести обыскивающих и даже, что совсем уж невероятно, Равилу...

Месяца через полтора похудевший и посеревший Лев Миронович вернулся.

Яша с мамой пошли к соседям, чтобы поздравить с возвращением хозяина.

— Это тебе, Яшенька, спасибо. Если бы не ты и не то, что я благодаря тебе спасла, Лёвушку бы закотали невесть куда,— сказала сквозь слезы Софья Ионовна.

«Не меня надо благодарить, а маму мою, которую вы спасли в войну от голодной смерти», — подумал про себя Шмуклер. Подумал, да вслух не сказал. Скорее всего, здесь, в этом доме, он не останется. Женится или уедет на заработки на север, а может быть, в Сибирь. А маме с соседями придётся тут жить...

МАРК ШЕЙНБАУМ

БАЛАГУЛА*

Мойше-Шлёмо-Дувед жил со своим семейством у самой реки в собственном доме.

Деревянный, крытый дранкой дом достался ему в наследство не то от отца, не то от деда и выглядел, как и его хозяин, значительно старше своих лет. Детей в семье было много. Все они были, как это здесь именовалось, «удачными». Они прекрасно успевали в любых учебных заведениях, был ли это хедер, светская школа или гимназия, где некоторым из них удавалось учиться благодаря заботам меценатов. Кто-то потом, повзрослев, уходил или уезжал из дому. Вместо него подрастали другие, так что человек 6-7 детей всегда в доме можно было насчитать. Летом, по утрам, младшие выкатывались из дверей и окон и, куврыкаясь, бежали к реке купаться. Старшие оказывались у реки ещё раньше, чтобы не пропустить утреннего клёва.

Хана, жена Мойше, слыла неудачницей. Молоко у неё или «убегало» или скисало не ко времени; куры неслись редко, а если и неслись, то в местах, где яиц потом было не сыскать. Даже коза, которая считалась почти что членом семьи, вдруг переставала доиться именно в то время, когда в молоке была особая нужда.

*Балагула (идин) — ломовой извозчик.

Зато у Мойше любая работа спорилась: он умел сложить печь, починить сапоги, столярничал, стеклил окна. Жили они с Ханой дружно. В отличие от некоторых соседей, из их дома никогда не доносилась перебранка. Как-то Мойше заметил, что с годами отпал последний повод для ссор и, хотя он по ночам храпит громче прежнего, Хана его за это не ругает, так как уже плохо слышит. Брак, по его мнению, это всегда лотерея, а он пока ещё не встречал человека, которому бы достался завидный выигрыш по лотерейному билету. В чертах его ничего типично семитского не было. Такое лицо могло принадлежать и английскому лорду.

Еврейскими у Мойше смотрелась разве лишь густая, как у древнего пророка, борода, длинный камзол и мировая скорбь во взгляде. Поскольку его основным занятием был извоз, в руках у него всегда был кнут. Никто, правда, не видел, чтобы он ударил им лошадь. Кнут, вероятно, полагался любому балагуле по «протоколу». Извоз был его занятием ещё при царе Николае, не изменил он ему и при Польше. На протяжении долгих лет лошадей у него сменилось несколько, однако друг от друга они почти не отличались, так что воспринимались как одна и та же. Все они были рыжей масти, у всех на боках была плешь от шлеи, все отличались спокойным нравом. О своих лошадях он проявлял трогательную заботу. Лошади платили ему привязанностью. В молодости он возил пассажиров на довольно приличном фаэтоне с шикарными фонарями по бокам. В них по вечерам, как этого требовал городской, горели свечи.

Одна из легенд о Мойше-Шлёмо-Дуведе относится к тем временам, когда он возил ещё пассажиров, а не грузы. Фаэтон его стоял обычно на углу оживлённой улицы, у аптеки Фридрихсона. В ожидании седоков извозчики дремали на козлах, а лошади, пофыркивая, ели овёс. У лошадиной морды висела торба с овсом, привлекавшая стайки городских воробьёв. Когда в фаэтон, наконец, садился пассажир, Мойше вручал ему вожжи и просил: «Подержите, пожалуйста, минутку, а я пока сниму торбу». Испуганный пассажир спра-

шивал обычно: «Что, лошадь может понести?» «Нет, напротив, она может упасть»,— следовал ответ.

Из-за чего Мойше продал свой фазтон и занялся грузовым извозом, сказать трудно. То ли пассажиров не стало, то ли внешний вид и скоростные качества его мерина не импонировали седокам, и они стали предпочитать фазтоны лихачей. Теперь ему приходилось перевозить мебель, завозить товары в лавки местных купцов, кому-то завезти дрова на зиму или отвезти многочисленное шумное еврейское семейство вместе с пожитками на дачу в близлежащий от города лесок.

Понятие «дача» в данном случае требует некоторого уточнения. Дачей для городских бедняков служили клетушки, больше похожие на коллективные сараи под общей крышей, перед которыми под наблюдением мамаш дружно восседали на горшках многочисленные чада, попутно вдыхая целебный воздух жиденькой сосновой роши. Многие в городе, когда у них возникала надобность в этом, поручали свои перевозки именно Мойше-Шлёмо-Дуведу, хотя у другого балагулы и лошадь была порезвее, и сам он был помоложе, да и перевозка заняла бы меньше времени. Многим хотелось поддержать эту многочисленную семью, дав возможность заработать её главе. Кроме того, общение с неунывающим Мойше ценилось любителями удачной шутки.

Говорят, что хорошо воспитанный человек узнаётся по благожелательности, благорасположенности к людям. Если исходить из этих критериев, то Мойше был аристократически воспитан. Его испытующий взгляд как бы искал в собеседнике какие-то ещё незамеченные до сих пор достоинства. В его поведении никогда не проскальзывало хотя бы капли подобострастия по отношению к сильным мира сего: к раввину, богатому соседу, пану полицианту или даже к самому финансовому инспектору. Взаимоотношения его с этим последним безоблачными не были. Он как-то заметил, что выжить бедному еврею удаётся только тогда, когда он успевает заработать хотя бы чуть-чуть больше того, что успевает отнять фининспектор.

Своеобразными были и его взаимоотношения с соседом, Менделем Ройтером, богатым владельцем мануфактурного магазина. Мойше уверял его, что чем человек богаче, тем меньше у него остаётся вещей, о которых можно помечтать. У бедняка простора для мечтаний куда больше. В отличие от Мойше, предпочитавшего общаться на идиш, Мендель в зависимости от того, какая власть была в городе, пытался говорить даже с евреями на русском или польском. Иногда это звучало довольно забавно. Так однажды, демонстрируя семейную фотографию, Мендель сказал: «Обратите внимание на половое положение моего Лёвы.» Лёва на фотографии возлежал у ног остального семейства. В другой раз он заявил, что у его дочери «всё спереди», имея в виду её будущее.

Часто на досуге у Мойше с Менделем возникала беззлобная пикировка, никогда не приводившая к ссоре. «Быть умнее Менделя— это ещё не значит быть умным»,— говаривал Мойше. «И вообще,— внушал он Менделю,— первые скамьи в синагоге ближе только к алтарю, но никак не к Богу, а если учесть, что наш кантор здорово фальшивит, то задние скамейки явно предпочтительнее». Места в синагоге в те времена покупались, впрочем, как и сейчас. «Кстати,— добавлял Мойше,— чем у человека меньше совести, тем у него больше всего остального».

Другим его соседом был старенький фельдшер, дружбой с которым он очень дорожил, не преминув при этом иногда и по его адресу отпустить беззлобную шутку. Так, он заявлял, что может безошибочно определить по поводу чего сосед вызван к больному. Если тот степенно и без спешки шагает со своим саквояжем, значит, он вызван поставить банки. А если он бежит на вызов бегом, речь идёт явно о постановке клизмы. Тут, если промедлить, больному может и без вмешательства медицины полегчать. Прощай тогда гонорар. Кроме того, сосед-медик — это подарок судьбы: ведь человек не знает, зачем живёт, так будет хоть у кого справиться, от чего умираешь. Взаимоотношения с Богом были у Мойше весьма доверительными. Казалось, что он с Господом разговаривает прибли-

зительно в том же тоне, что и со своими соседями.

Он упрекал Бога в отсутствии порядка на земле и спрашивал: «Неужели пан полициант с такой красной рожей тоже создан по образу и подобию?» и «Справедливо ли считать грехом только те удовольствия, к которым у тебя нет доступа?»

Претензий к Господу у него накопилось много, и он не стеснялся их ему высказывать. Несмотря на это, оставался верующим и исполнял все обряды. Неприятие у него вызывало отступничество от религии отцов и дедов. Он не любил выкрестов и говорил, что выкрест числится христианином только до посещения бани. К атеистам относился более терпимо: «Эти хоть на место в раю не претендуют».

Своеобразный и трогательный мир местечкового сврейства в Европе стал жертвой холокоста. Мойше-Шлёмо-Дуведа, как и почти всех его земляков — свреев города, не стало.

Сегодня сразу же за городской чертой, в урочище «Дубки», где все они похоронены, стоит им общий памятник. Фамилии Мойше-Шлёмо-Дуведа на нём нет.

Как и других фамилий.

«НЕ НАСТУПИТЕ НА МОНТЕНЯ!»

«Что интересное ты сейчас читаешь?» — спросил меня доктор Шапиро у входа в больницу, где мы работали. «Ну, как вам сказать: читаю какую-то ерунду и вот уже почти неделю не решусь её никак бросить», — ответил я. «Что ты, в самом деле: женщину и книгу, если она не по душе, бросать следует немедленно!» — прозвучал совет.

Моисей Израилевич Шапиро принадлежал к тем врачам, которые окончили институт до войны и были, как правило, её участниками, так что война во многом наложила на них свой отпечаток. Мы, врачи послевоенной генерации, относились к ним с уважением, порой даже с обожанием. Они казались нам и чаще всего были носителями той прежней культуры, кото-

рая все больше уходила куда-то в небытие.

Моисей Израилевич, прекрасный врач-невропатолог, обладал к тому же ещё и невероятной эрудицией в самых неожиданных для врача областях знаний: греческая мифология, астрономия, история древних Индии и Китая, изобразительное искусство, литература — начиная с древности и кончая последним номером журнала «Новый Мир». Речь его, всегда краткая, ёмкая, в строгом согласии с логикой, доставляла истинное наслаждение. Авторство афоризмов, которыми она изобиловала, оставалось неясным: то ли он сам их сочинял, то ли черпал из каких-то только ему ведомых источников, отбирая самые блестящие.

Всевозможные конференции с его участием сулили всегда интересный взгляд на любую проблему, неожиданный поворот дискуссии, которая нередко прерывалась взрывами хохота. Свое выступление после доклада одного из начальников о перспективах развития здравоохранения в области он однажды начал так: «От воздушных замков пока ещё никто не нашёл даже развалин». Поздравление коллеге, умудрившемуся жениться в шестой раз, закончил сентенцией: «Чем опыт печальнее, тем радужнее иллюзии». Прослушав на одной из конференций длиннющий и скучнейший доклад, съязвил: «Научный доклад, как дамская юбка, должен обладать достаточной длиной для соблюдения приличий, но в то же время должен быть достаточно коротким, чтобы вызывать интерес». Санитарке, что-то недоделавшей во время ночного дежурства и пытавшейся это скрыть, выговор закончил сентенцией: «Нужно всегда говорить правду... ну, допустим, не всегда, но один раз всё же можно».

О его библиотеке ходили легенды. Казалось невозможным зайти в книжный магазин и не застать там Моисея Израилевича. В его квартире из-за обилия книг почти не оставалось места для обычных предметов обихода. На полках стояли многочисленные издания, вызывавшие нескрываемую зависть у библиофилов, а Шекспир на английском соседствовал с Мицкевичем на польском и Шолом Алейхемом на идиш. Вообще книги на иностранных языках, особенно на

идиш, составляли значительную часть его собрания, что в те времена признаком благонадёжности не служило.

В годы Хрущёвской оттепели и позже доктор Шапиро заведовал отделением областной больницы и был сугубо штатским человеком, но многие помнили его в военной форме. В годы войны существовало клише, которое считалось присущим внешнему виду военного врача: очки, согбенность фигуры и шаркающая походка, обусловленная, как правило, кирзовыми сапогами на два размера больше необходимого. Многие врачи в военной форме всё же сохраняли в себе некую неистребимую штатскость. Их порой считали баловнями судьбы: передовая чуть дальше, дисциплина чуть мягче, спирта немерено, да и женский персонал в невероятной изобилии. Это расхожее мнение никак не соответствовало действительности. Круглосуточная изнуряющая работа, потоки искромсанных тел, непрерывные бомбёжки, вражеская артиллерийская обработка ближнего тыла, где и располагались госпитали, — всё это не создавало никакой иллюзии райского житья.

Моисей Израилевич провёл всю войну на фронте и, начав старшим лейтенантом, окончил полковником — начальником крупного госпиталя. Его безупречная выправка, импозантная седина на висках — всё заставляло строевых офицеров невольно вытягиваться в струнку и подносить ладонь к козырьку фуражки, хотя обычно они военных врачей такой чести не удостоивали, — мол, их вроде и не требуется приветствовать по уставу.

После демобилизации Моисей Израилевич получил должность начальника и одновременно невропатолога санитарной части МГБ в одном из областных центров. Он по-прежнему носил полковничьи погоны, изменился только цвет околыша. Работы было много: нервная система чекистов и особенно их жён оказалась почему-то довольно расшатанной. А коллеги — невропатологи города очень быстро признали в нём хорошего специалиста и стали приглашать на всевозможные консультации и консилиумы.

В январе 1953 года в Москве стало набирать обороты «дело врачей-отравителей». На периферии стремились не отстать от столичных «органов».

В одну из ночей к Моисею Израилевичу пришли с обыском. Возникла несколько странная ситуация, которая обуславливалась двумя обстоятельствами: ордер на обыск был, но не было ордера на арест, а, наталкиваясь на висевший на спинке стула полковничий китель хозяина квартиры, все проводившие обыск «чекисты» испытывали некоторое неудобство, потому что старший среди них был только капитаном. А один из ночных гостей вообще не поднимал глаз: его сына Моисей Израилевич спас от менингита.

По всем этим причинам в действиях чекистов чувствовалась нервозность, и они тайком друг от друга пытались даже извиняться за причинённые неудобства, — дело свое, однако, продолжая. К утру книгами был устлан пол даже в коридоре и на кухне. Моисей Израилевич воспринимал происходящее внешне стойчески. Только один раз спокойствие ему изменило, и он воскликнул: «Лейтенант, не наступите на Монтеня!»

Ночные гости прихватили с собой все книги, напечатанные на идиш и латинским шрифтом. Шекспир на английском был, видимо, арестован до решения вопроса о том, не был ли Шекспир сионистом. Из книг на русском языке были прихвачены «Золотой телёнок» и «Двенадцать стульев», не так давно изданные и в очередной раз запрещённые. Когда ночные гости уехали, Моисей Израилевич не сразу поверил, что вместе с книгами не прихватили и его. Пришлось надеть свою чекистскую форму и идти на работу.

Его сразу же вызвали к начальник отдела кадров. Тот сообщил, что Моисей Израилевич уволен как лицо, не заслуживающее доверия, и вообще «жидам вскоре укажут, где именно находятся подходящие для них места». Дальнейшие события разворачивались в кабинете по явно незапланированному сценарию. Моисей Израилевич подошёл поближе, отвесил «кадровику» звонкую оплеуху и, откозыряв, спокойно уда-

лился. Онемевшее от неожиданности начальство отреагировало не сразу. Шапиро, уже миновав секретаршу и выйдя в коридор, услышал несущийся ему вдогонку визг потерпевшего. С работы его, конечно, уволили, из партии, естественно, исключили, но почему так и не арестовали, в чем можно усмотреть одну из загадок того времени.

После смерти Сталина он стал, уже в штатском обличье, работать главным невропатологом области. Часть книг ему вернули, часть исчезла бесследно. «Двенадцать стульев» и «Золотого тельника» пришлось покупать вновь, после того как их издание было в очередной раз разрешено.

Вскоре его начали усиленно приглашать вернуться в партию и предлагали написать заявление о приеме. Былая вера в партийные идеалы пошатнулась у Моисей Израилевича, пожалуй, уже давно, да и в логике ему нельзя было отказать. Он заявил, что как-то не припомнит, что писал заявление о выходе из партии, и посему не видит надобности писать о приеме. Тогда ему принесли новенький партбилет прямо на службу, хотя заявления он не написал. Особой радости он по этому поводу не выказывал. На поздравления ответил довольно рискованной остротой: «Когда невеста второй раз выходит замуж за одного и того же жениха, первая брачная ночь несколько теряет в привлекательности».

Уже в середине восьмидесятых мы, несколько дежуривших по различным отделениям больницы врачей, собрались вечером проведать Моисей Израилевича. Он лежал в реанимации с третьим инфарктом. Нашему посещению обрадовался, но не то философствовал, не то мрачновато шутил: «Жизнь была бы вполне переносимой, если бы не мелкие неприятности, вроде инфарктов. Впрочем, инфаркты не следует принимать близко к сердцу. Жаль только, что из жизни никто ещё живым не выбрался».

Под утро Моисей Израилевича не стало.

УЛЬЯНА
ШЕРЕМЕТЬЕВА

ОРКЕСТР БОЛЬШОГО ГОРОДА

Всюду звуки, звуки, звуки —
Им затихнуть не дано —
Нет ни пауз праздной скуки
И немого нет кино.

Переулочек — трембита.
Отражение звуков тех.
Лестница — рояль разбитый
Гаммой мчит меня наверх.

Только слышан неотёсан,
Невытерпёж и невпопад,
Безоглядный, безголосый
И скрежешущий разлад.

Всё трезвонит и кружится,
И клокочет, и бурлит,
И басовый ключ бесится,
И скрипичный ключ скрипит.

Тротуаров барабаны,
Грохотание метро,
Гонг неистовых сигналов,
Вой обветренных валторн.

Что за дьявольская месса!
Не игра, а свистопляс —
Неудавшаяся пьеса,
С толку сбившийся пассаж.

Где бы скрыться от палящих —
Ноги ль сами унесут —
И назойливо гремящих
Септим, терций и секунд?

Переулочек плешивый —
Отраженье звуков тех,
Лестница — рояль фальшивый —
Гаммой мчит меня наверх.

Прочь аккордов заклинанья,
Гул и говор, и галдѣж,
Зубоскалья, завыванья
Невпопад и невтерпѣж.

Так замрите! И не смейте
Песню-соло сбить в тиши —
Я хочу пролиться флейтой
Самой нежной, из души...

* * *

Мир будет вечно суетлив —
он весь таков,
Одновременно чист и лжив
в сплетеньи слов.
И будет властвовать судьба
над всем своя,
И будет вечною борьба
добра и зла.
Всё будет вечно отмирать
и вновь родить,
Чтоб в бесконечности вязать
живую нить.
А новой будет только жизнь —
она одна,
И надо каждому испить
её до дна,
Но если слишком горек вкус
и нет плеча —
За тех я Богу помолюсь
в смми свечах.

ШОПЕНУ

Замереть
на полупальцах,
Птицей
ринуться к восходу,
Этой музыкой
и танцем
Расплескать
восторг свободы!
Закружиться,
захлебнуться,
Засверкать —
и миг растаять...
Но из клавиш
вновь польются
Грёзы — счастье,
слёзы — память,
Растворившись в них
однажды,
Хочешь эхом
задержаться
В убегающем
пассаже
И в сейчас
не возвращаться...

* * *

Лопухи расстелились лениво
И над ними повисла пчела.
В душном воздухе, смешанном с пылью,
Заунывная песня слышна.

И ни облачка в выцветшем небе,
Словно ветошь измята трава,
И не знаю уж, быль или небыль -
Свежий ветер — иль просто слова...

* * *

Уходит день, суетность уводя,
И сумерки витают, а потом

Мне колыбельную виолончель дождя
Играет за темнеющим окном.

И звуки те струятся по стеклу
Жемчужинами канувших времён.
И ловит их, расплёскивая мглу,
Ладонями осушившийся клён.

А мимо проплывают чудеса,
Покачиваясь в свете фонарей,
И чуждые смолкают голоса,
И тонет время в музыке дождей.

РИСУНОК

Хочешь, тропинку тебе нарисую,
что затеряется где-то во ржи,
И васильков разметавшихся бисер? —
только ты руку мою не держи.
А вдалке белокаменный город,
весь в куполах золотых, и звонит,
К городу этому тропка та пыльная,
в поле теряясь, упрямо бежит.
Хочешь, фигурки ещё нарисую,
что по тропинке, обнявшись, бредут?

Видно, не скоро, целуясь в колосьях,
в сказочный город те двое придут.
Но ничего, и во ржи заночуют,
летняя ночь всё же так хороша, —
В небе расцветшие звёзды колдуют,
в травах высоких сверчки ворожат.
А на заре птичий гам их разбудит,
сказочный город поманит опять,
И на рисунке влюблённая юность
будет, обнявшись, свой путь продолжать.

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

МЕТЛА

Михаил Ефимович Кныш был дворником на Одесском винно-коньячном заводе. Это, конечно, не молокозавод и не мясокомбинат, но пару копеек и здесь заработать можно: кому загрузить, кому разгрузить, а кому пересчитать бутылки за территорией завода. Лучше всех платили кавказцы. Приезжая за товаром, привозили ранние овощи, фрукты, а денег не брали. Кныш был доволен своей работой. Она позволяла кормить двух внуков и зятя-инвалида. На вопрос: «Как дела?» — бодро отвечал: «Пока на свободе!» Он был высок, крепко скроен и славился уникальной памятью. Запомнить любой текст с первого раза не представляло для него труда, а номера машин, проезжавших через ворота у проходной, укладывались в голове, как папиросы в пачках. Гордостью Михаила Ефимовича была метла, с которой он никогда не расставался. На собрании, посвященном дню Сталинской Конституции, заместитель директора Сиволапов сказал: «В целом у нас коллектив здоровый, но и несучны не перевелись. Хоть по мелочам, а норовят что-нибудь вынести с завода: кто доску, кто гвоздь, а кто и дефицитную пустую тару, — в зале хихикнули, — а уважаемый товарищ Кныш сам приносит из дому инвентарь, купленный за свои деньги». Он показал в конец зала, где сидел Михаил, упирая в пол трубку, длинную, как древко копыя. Большая сумка с метлой

лежала рядом. «Вот с таких людей нужно брать пример!» — продолжал Сиволапов. Повысив Кныша в ранге, добавил: «Старший дворник награждается крупной премией — пятьдесят рублей, — в зале слышался смех, — прошу получить и расписаться». Старший дворник, захватив «копье» и сумку, двинулся к сцене. Зал аплодировал.

Метла дворника действительно была не простой. Он долго выбирал её в длинном ряду торговок. Вначале проверил крепость обвязок, потом мял бока, нюхал, сгибал и разгибал прутья, а дома, выдержав в кипятке, верхнюю часть обшил тканью. В метловище вставил металлический стержень с выступающей нарезной частью. Вместо черенка Кныш приспособил длинную алюминиевую трубку с внутренней резьбой на одном конце и заглушкой на другом. Несколько оборотов метлы — и агрегат готов к работе.

В конце квартала, когда деньги на хозяйные нужды заканчивались, веники не покупались, и дворники под навесом «забывали козла». Начальник АХО ходил злой, ни с кем не здоровался и ругал дворников: «Лимиты сожрали, в заводе полно грязи, а вы байдыки бьёте», — и ставил в пример Кныша. «Метлов нет и делов нет», — продолжая стучать костяшками, отвечали они и в крепких выражениях попрекали Ефимыча за то, что он «потрафляет» начальству. Кныш, прищуривая глаза, отвечал: «Хлопцы, я вам так скажу, а скажу я вам по-интеллигентному: идите кидаться головой в навоз, мне нужно кормить семью», — и ещё старательней размахивал метлой.

Его территория — вокруг проходной внутри завода и отрезок улицы за воротами до соседнего дома — считалась самой невыгодной, но всегда была чистой и ухоженной. По графику бригадира дворники периодически менялись участками. Но Михаил своё право не использовал.

Он был грубоватым человеком, но заботливым, работающим и смекалистым. Таким его сделала нелёгкая жизнь. Перед самой войной умерла жена, а после войны — дочь, и Михаил Ефимович растил двух внуков. Отряд самообороны от погромщиков в 1905 году,

фронт в первой мировой войне, две революции, трудармию во второй — не назовёшь подарками судьбы, разве что сохранённую жизнь.

* * *

Зять Кныша, Яков, потеряв обе ноги на Волховском фронте, решил домой не возвращаться. В госпитале добрая душа соорудила ему низкую колясочку на четырёх подшипниках, выстругала две опорные ручки и отнесла к поезду. В инвалидном доме он почти не вставал с узкой железной койки и обычно лежал, повернувшись лицом к стене.

После многочисленных переписок с разными инстанциями Михаил всё-таки разыскал его. На окраине заштатного городка, за покосившимся забором стояло убогое здание барачного типа. У калитки, на столбе, висела вывеска «Дом инвалидов ВОВ». Буквы на солнце выцвели, и прочесть их можно было с большим трудом. Во дворе на ящиках сидели инвалиды и грелись на солнце. Обстановка в самом бараке вполне соответствовала и покосившемуся забору, и захлапленному двору, и одежде обитателей барака. Михаил долго топтался у дверей палаты, не решаясь войти. Он понимал, что эта встреча для Якова будет тяжёлой, и первые минуты общения станут решающими в их дальнейших отношениях. Кныш не мог решить, как начать разговор. Но когда он открыл дверь и увидел в углу лежащего на койке человека лицом к стене, а на месте, где должны были быть ноги, даже одеяло не собралось в складки, остолбенел. Там ничего не было, ничего до самих ягодиц. Комок подкатил к горлу, а из головы вылетели все слова, которые он приготовил. Подойдя к койке, Кныш тихо позвал: «Сынок!» Яков встрепенулся. В его глазах промелькнуло удивление и счастье. Он обнял отца.

* * *

Сарра Исааковна была одинока. Её муж умер перед самым концом войны, а сын погиб под Севастополем. Она жила на втором этаже дома, который примыкал к заводу. Когда появлялось солнце, Сарра вместе с котом Нахесом располагалась на подоконнике

открытого окна, удобно облокотившись на большую подушку. Кот был привязан к своей хозяйке, но посягательств на свою свободу не терпел, как и не терпел гостей. При их появлении он презрительно фыркал, злобно шипел, убежал под кровать и укладывался на полу мордочкой к стене. Иногда он исчезал на несколько дней. Тогда женщина чувствовала себя особенно одинокой. Её любимым занятием было чтение. Сарра плохо видела, но очками не пользовалась, считая, что они её старят. Сидя у окна и вооружившись увеличительным стеклом величиной с блюдце, она шурила один глаз и водила линзой по строчкам, где буквы становились величиной с ноготь. Сарра читала всё без разбора, часто не понимая содержания, но сам процесс приобщения к печатному слову доставлял ей удовольствие. Её заветная мечта прочесть «Капитал» Карла Маркса пока не осуществилась: у соседей не было этой бесценной книги. Во дворе Сарру Исааковну считали интеллектуалкой, она вставляла в разговор разные красивые слова и цитировала услышанные фразы из книг, которых не читала. Правильно говорить по-русски она так и не научилась, вставляя в речь то еврейские, то польские, то украинские слова.

Сарра знала Кныша ещё с детства. Тогда его фамилия была Кнышис, а звали его Мойше. Её отец и отец Мойше по вечерам, сидя у ворот, пили чай из глубоких блюдец. Они клали на язык кусочки колотого голубоватого сахара и, вытянув губы, медленно втягивали горячую душистую жидкость. Утираясь большими цветастыми платками, обсуждали последние уличные новости. Саррочка была моложе Мойше и продолжала тайно любить его даже после замужества. Через много лет они встретились уже пожилыми людьми.

* * *

Михаил заканчивал уборку улицы вдоль заводского забора и медленно приближался к дому, в окне которого на подушке дремали Нахес и Сарра Исааковна. «Уважаемый товарищ Кныш,— проснулась

женщина, — хватит укалывать и делать пиль. Оставьте немножко и нашей дворничке. Забежите лучше выпить стакан чая с коржиками». Нахес вздрогнул, фыркнул и, спрыгнув на пол, побежал под кровать.

«Только не оставляйте метлу. Майне соным¹... здесь столько босяков», — вздохнула она. Захватив метлу, Михаил поднялся на второй этаж.

— Здравствуй Саррочка! Вус эрдцах эпес?²

— А... мир гульцах, мир шерцах и мир мичецах!³ — ответила она.

— Ну, так уж сильно ты мучаешься, вспомни войну?!

— Мойшелэ! Я тебе скажу как родному отцу. Эти американцы не дают мне покоя. Как тебе нравится: нашторхали в бомбу этих атомов и махают перед нашим носом? Мои цурыс⁴ на их головы, и чтобы им было так хорошо, как нам на эвакупунктах.

Сарра Исааковна поджала губы и посмотрела в окно. Взгляд её был задумчив и печален, словно она увидела бомбу, набитую атомами, и эвакупункт на противоположной стороне улицы.

— Саррочка, не бери дурное в голову!

— Хорошенькое дело, не брать в голову!? — пожалала она плечами.

Выпив чаю, Михаил показал на метлу и сказал: «Сарра, обработай прэдмет».

Она молча взяла метлу и пошла на кухню.

— Мойшелэ, а как у тебя дома? Как Яша, как дети? — вернувшись из кухни, спросила Саррочка.

— Дети учатся, Яша сидит дома — собираем деньги на коляску. А я, как ты говоришь, укалываю. Тяжело.

— Я на тебе удивляюсь, Мойшелэ! Невжели ми не можем хоч на старости лет пожить вместе, хоч на старости лет не быть одинокими? — Саррочка покраснела и смахнула слезу ладонью. Она не забыла мечты юности.

— Ну что ты, Саррочка, что ты, — он погладил

¹ Майне соным (идиш) — мои врагам.

² Вус эрдцах эпес? (идиш) — что слышно сейчас?

³ Мир гульцах, мир шерцах и мир мичецах! (идиш) — бредюся, стригутся и мучаются

⁴ Цурыс (идиш) — горе

её по голове, — вот внуки подрастут, Яшка определится, тогда можно подумать, — и добавил, — если будем живы.

* * *

Над заводом сгустились тучи. Первым был арестован Кныш в тридцати метрах от дома, где жила Сарра. Одновременно у них на квартирах начался обыск. При аресте у Михаила сразу отобрали метлу. Уже в милиции следователь пригласил в кабинет понятых и начал откручивать ручку над большой стеклянной банкой. Из трубки полилась тёмно-янтарная жидкость, а комната наполнилась дурманящим ароматом марочного коньяка. Трёхлитровая банка наполнилась до краёв. Источник иссяк, и понятые пошли в другую комнату подписывать бумаги.

«Умножаем на двадцать четыре — получаем семьдесят два литра или сто сорок четыре бутылки в месяц. Недурно, я бы даже сказал, солидно, но чреватое...» — хмыкнул следователь и надолго замолчал. Он читал бумаги, что-то напевал и не смотрел в сторону дворника, словно забыл о его существовании. «Дешевый ментовский приём», — думал Кныш. Он догадывался, что у него и у Сарры идёт обыск, и знал, что у них ничего не найдут, разве что стеклянную банку на кухонном окне и девятьсот пятьдесят рублей в ящике комода. Мойше также знал, что Саррочка не скажет ничего лишнего. Через часа три в кабинет вошёл человек и, что-то сказав следователю на ухо, вышел. (Офицер скрипнул зубами и уставился на Михаила:

— Сейчас ты мне расскажешь, кому, за сколько и какое количество коньяка продаешь в месяц, а главное — номера машин, которые вывозили ворованное, — заорал следователь.

— В месяц выношу три литра, и сам выпиваю, — следователь осклабился. Память у меня стариковская, номера не помню. Мне это до лампочки.

— Нам известно, что ты не пьёшь, а память у тебя — позавидуешь! Ваньку-то не валяй, тебе же хуже.

— Слушайте вы их, — ответил Кныш.

— За идиота меня имеешь, думаешь все Ивановы

дураки, а ваши умные. Да я тебя разможжу и с говном смешаю. Посидишь в пресхате — завоешь, и всё, что было и не было выложишь. А протокольчик подпишешь, какой я продиктую! — продолжал он орать и стучать по столу кулаком. Лицо его покрылось багровыми пятнами. Кныш тяжёлым взглядом уставился на следователя и сквозь зубы процедил:

— Сейчас не пятьдесят третий год.

— Временно... — почти не слышно выдохнул офицер.

— За такие слова могут и погоны снять. Значица так, пресхата отменяется, — продолжал арестованный. Следователь побледнел и пробормотал:

— Погорячился...

— Михаил Ефимович, помогите следствию, — офицер перешёл на вы, — и из обвиняемого вы превратитесь в свидетеля, а это свобода и уже сегодня.

Кныш понимал: если следователь даже не врёт, и его сегодня выпустят, то он вряд ли доживёт до утра. И потом он был человеком, который не забывал добра. Но на воле не все были в этом уверены.

* * *

Саррочку допросили в её квартире после обыска.

— Помогите следствию, — задушевно начал офицер, — зачем вам позорить своё доброе имя?

— Хорошенькое кино! — всердцах сказала Сарра. — Чем же я порчу своё имя?

— А тем, что имеете дело с расхитителями собственности.

— Какой, какой?

— Ну, там... государственной водки, коньяка и всё, что выпускает завод.

— Что вы такое говорите? Я на вас тоже удивляюсь!

— Почему тоже?

— Я вже удивлялась на товарища Кныша.

— Что так? — обрадовался оперативник.

— Я его спросила: зачем он так тяжело работает в свои годы? — Офицер разочарованно замычал.

— Сарра Исааковна, Кныш рассказал нам, какие

машины вывозят левый коньяк, и просил вас только подтвердить номера. Кстати, вы сливаете коньяк из ручки?

— Я вас умоляю, меня интересует той завод? Пусть они там все сдохнут, звиняйте! От этой водки по ночам дышать нельзя, — возмущалась она и продолжала:

— Вы там самый главный? Как вы узнали за его рассказ, его отвезли туды, а вы пришли сюды? — лукаво улыбнулась Сарра. — Я вам скажу голую правду: первый раз слышу, чтобы коньяк можно было выносить в ручке. — Она помолчала. — Да..., Кныш заходит иногда выпить стакан чая с коржиками — и всё...

— И всё? — переспросил офицер.

— Ну...! Таки да, не всё.

— А что, что именно? — у него появилась надежда.

— Ви на меня нагоняете смущение. Ну что делает мужчина, когда заходит к такой женщине, как я? Она оглядела себя, гордо вскинула голову и добавила: «Да ещё из таким товаром, как у мене».

Сарра двумя руками снизу чуть приподняла груди, которые едва уместились на растопыренных пальцах.

— Вы хотите сказать, что у вас близкие отношения?

— Или...!

* * *

Вечером в камере Михаила встретили уважительно. Определили на хорошее место. Ночью пахан зашептал ему на ухо:

— Пришла малява⁵. Если уйдёшь в несознанку⁶, работать в зоне не будешь, а хавать⁷, как в ресторане «Красная».

— Передай, — ответил Кныш, — заткнусь, если обеспечат семью, пока буду чалиться⁸.

⁵ малява (блатной жаргон) - письмо

⁶ несознанку (блатной жаргон) - не сознаться.

⁷ хавать (блатной жаргон) - кушать

⁸ чалиться (блатной жаргон) - отбывать срок заключения.

Прошло два дня. На допрос его не вызывали. Под утро третьей ночи, ноги, руки и голова Михаила оказались намертво прижатыми к нарам, а подушка под чьей-то тяжестью не давала дышать. Он пытался вывернуться, глотнуть воздух, но силы покидали его и сознание быстро угасало. Кныш только успел расслышать: «Прости, старик: приказ с воли».

ЭШЕЛОН

Мишке мучительно хотелось есть. Последние два дня мама кормила его размоченными в воде крошками сухарей. Ей удалось вытряхнуть их из пустой торбы.

Шестые сутки на объездном пути у маленького полустанка, затерянного в Сальских степях, стоял эшелон с беженцами. Сформированный в основном из открытых вагонов, состав редко перемежался двухосными теплушками. Издалека, в жарком мареве, он казался караваном верблюдов, дремлющих на железнодорожных путях. На верёвках, протянутых между вагонами, висели плохо выстиранные пелёнки, исподние рубахи и подштанники. Они едва шевелились от слабого ветра, словно белые флаги, выброшенные перед капитуляцией. У некоторых вагонов горели маленькие костры. В узких высоких вёдрах что-то варили счастливики, у которых было ещё немного провизии. Они стояли у своих немудреных очагов, замороженные тощим запахом еды, и не могли оторвать взгляд от булькающего варева. В руках люди держали тряпки, чтобы успеть подхватить горячие вёдра и вскочить на подножки уходящего поезда. Никто не знал, когда двинется эшелон: ни пассажиры, ни машинист паровоза, ни начальник поезда. Это могло случиться через минуту, через час, через неделю, или вообще не случиться. А мимо проносились составы с заводским оборудованием, санитарные поезда и воинские эшелоны.

Мишка брёл вдоль вагонов и пытался не загляды-

вить в кипящие вёдра, но помимо его воли голова поворачивалась в ту сторону, ноздри втягивали запахи еды, а в своём воображении видел себя с ложкой и даже ощущал вкус обжигающей похлёбки. Он думал о том, что в воинском эшелоне, который только что промчался мимо, уже, наверное, обед, и красноармейцам наливают в железные котелки суп, а в крышки накладывают жирную лапшу. И ещё ему было жалко манную кашу, которую до войны он выплёскивал в горное ведро, когда мама отворачивалась к окну. От этих мыслей рот наполнялся слюной, в животе урчало, булькало, и всё сильнее хотелось есть. Сегодня утром Мишкина мать опять ходила к начальнику поезда, чтобы задать всё тот же вопрос:

— Когда мы, наконец, поедим?

Положив локти на толстую доску поперёк двери персональной теплушки, покачивая головой, он ответил:

— Не знаю, милая, не знаю.

— У нас есть нечего, дети умирают!

— Знаю, милая, знаю.

— А фашисты далеко?

— Не знаю, милая, не знаю.

— Ведь если они придут, нас всех перестреляют!

— Знаю, милая, знаю.

— Так что же нам делать?

— Не знаю, милая, не знаю.

* * *

Человек в военной форме, с синим околышем на фуражке, топал ногами и кричал на начальника поезда, то и дело вытаскивая пистолет из рыжей кобуры:

— Да я тебя упеку, упеку на всю жизнь! Нет!... Я тебя лучше кончу, некогда мне с тобой валандаться! гремел военный.

— Говори, кто здесь зачинщик? Кто бузит? Кому не терпится драпануть? Поезд долго стоит!? Кого мы ширёд пропустим: наших доблестных воинов или эту воиную хеврю? Живучие они, ещё с девятьсот пятого живучие! Покажи, говорю! Небось, какой-то паршивый интеллигент в очках шибко умный! Говори кто,

я его буду кончать или тебя, если не покажешь!?

— Да не найду я его, товарищ уполномоченный, и не мужик это вовсе, а бабы... дети голодные. А не приведи господь, фашист прорвётся,— бледнея, плачущим голосом лепетал начальник поезда.

— Что, панику сеешь, пораженец! — во всю глотку заорал чекист.

— Кому проданся, кому, кому, говори? Особист выхватил пистолет из кобуры.

Серый, как портянки, начальник поезда от страха упал на топчан. Под ним что-то звякнуло. Чекист умолк и прислушался. Он приставил ствол пистолета к груди дрожащего начальника поезда и завопил:

— Что везёшь, гад? А ну покажь! Покажь, говорю!

Прижав коленом насмерть испуганного человека, он вытащил из кармана обрывок верёвки. Грясущейся рукой начальник поезда достал из-под топчана стеклянную четверть, наполовину заполненную мутной жидкостью. Глаза особиста потеплели, от блаженной улыбки щеки пошли морщинами. Начальник поезда быстро уловил перемену в настроении особиста.

— Горе-то какое свалилось на нашу Социалистическую Родину, — твёрдо сказал он, — но скоро мы погоним врага и добьём на его территории. Правда, товарищ уполномоченный?

— Правда, правда! — сказал особист, не спуская глаз с четверти.

— Вот за это нужно бы выпить, — предложил начальник поезда, — всё не решался вас угостить, — добавил он и поставил самогон на топчан. Особист вытащил из вещмешка буханку хлеба, две луковицы и большой кусок сала. Задвинув дверь теплушки, уселся на ящик и придвинул его поближе к бутылки. После второго стакана он разомлел.

— Я тебе так скажу... кумекать нужно маленько. Говорят, что Гитлер пошёл на нас из-за комиссаров и евреев, но я не верю, и ты не верь. Если что, товарищ Сталин нам намёк-то и пошлет, понял? Он выпил ещё стакан. Лицо стало красным, слова застревали на языке, а голова клонилась к груди. Боднув головой, он

промямлил:

— Тикают все, а нам, чекистам, куда податься? По правую руку — фашист, — он неуверенно показал вправо, — а по левую... — особист задумался и, махнув рукой, добавил, — да где ж нас любить? Вот и казачки жратву к поезду не несут. Заразу, говорят, боимся подхватить. Думаю, брешут, стервы. Вот и крутись здесь с вами, разбирайся... Мне назначено за вами доглядать. А то как же, за вами не доглядай, так быстро скурвитесь. Он снова боднул воздух и мутными глазами уставился на начальника поезда.

— Скурвишься же, вражина! — он стукнул кулаком по доскам, и его голова стала медленно клониться к топчану.

— Обижаете, товарищ уполномоченный, — плачущим голосом сказал начальник поезда, и быстро выдернул стеклянную бутылку из-под слетевшей фуражки.

— Знаю, чё говорю, — пролепетал чекист, и головой ткнулся в доски. Уже лежащая голова сказала:

— Мне «сам», — он с усилием показал пальцем в потолок, — сказал: «Не бойсь, Иван, мы всем нужны, так что ставь к стенке любого, по своим понятиям».

* * *

Мишка продолжал брести вдоль состава. У самой насыпи он увидел нескольких беженцев, стоящих у ямы. Слышался плач. Рядом лежал большой белый сверток. Хотя на долгом пути похороны случались часто, Мишка не мог к этому привыкнуть и смертельно боялся покойников. Быстро обогнув это место, он побежал, не разбирая дороги, а перед его глазами маячил человек, завёрнутый в белую ткань. Мишка остановился лишь тогда, когда наткнулся на сидящего старика в чёрной одежде и маленькой шапочке на макушке. Скрюченные подагрой пальцы обхватили рукоятку палки, которая стояла между колен и служила подпоркой для потрепанной книги с закорючками вместо букв. Старик читал её шёпотом, слегка покачивая головой. Белая борода и очки делали его похожим на большую мудрую птицу, сидящую на ветке.

Рядом молодуха ложкой кормила маленькую девочку в тёмных кудряшках.

Мишка проглотил слюну и уставился на ротик ребёнка. Голодные спазмы разрывали его внутренности. Он знал, что заглядывать в рот плохо, но ноги приросли к земле, глаза расширились, а ладони судорожно сжимались, готовые вырвать ложку с едой.

— Иди мальчик, иди, — сказала женщина.

Мишка не мог двинуться с места.

— Что тебе нужно, мальчик, иди себе, иди!? — продолжала она.

Старик оторвался от книги и посмотрел на неё поверх очков:

— Готыню¹, моим врагам! Она спрашивает, что ему нужно? Дитё хочет кушать, дай ему пару ложек.

— Не дам, — заверещала молодуха, — у нас уже ничего нет, мы скоро все умрём с голоду, все!

— Малхомовэс²! Я сказал, дай дитю пару ложек, оно еле дышит. Если мы все умрём, значит на то его Господня воля, но зачем мальчику умирать первым? — прокрипела мудрая птица и уткнулась в толстую книгу. Старик не любил сноху и терпел её ради внучки.

Женщина не могла послушаться свёкра и нехотя протянула ложку с едой. Бережно, двумя руками, Мишка поднёс её к губам и маленькими глоточками быстро проглотил содержимое. Глаза его горели от счастья и благодарности. Молодуха протянула ещё одну. На этот раз он не удержался и проглотил всё сразу, вылизал ложку со всех сторон и хотел уходить.

— Подожди! — вздохнула молодуха и протянула Мишке ещё одну ложку с едой. По её щекам катились слёзы.

— А теперь иди, сынок, — печально сказала женщина и отвернулась.

* * *

Открытый вагон — это массивная платформа с

¹ Готыню (идиш) — Боже мой.

² Малхомовэс (идиш) — погибель.

невысокими бортами по краям. На таких обычно перевозили крупногабаритные или сыпучие грузы.

Вдоль бортов на узлах и чемоданах сидели беженцы. Они нехотя переговаривались, вспоминая кулинарные рецепты, проклинали войну, Гитлера, жару и железнодорожное начальство. По ночам прислушивались к канонаде, смотрели на зарево в западной части неба и спорили: когда сюда придут фашисты.

Мишкина мама стояла у борта вагона и смотрела на село, расположенное в трёх-четырёх километрах от полустанка. Едва различимые белые хаты утопали в зелени. Мишка забрался на платформу, обнял мать и тоже стал смотреть в ту сторону. Ему показалось, что сквозь знойную дымку он видит висящие на деревьях фрукты, слышит хруст разгрызаемых яблок, кулдаханье кур и чувствует запах бульона. От этих галлюцинаций ещё нестерпимей хотелось есть. Он заплакал так горько, как никогда не плакал за всю свою короткую жизнь.

Мама присела, обняла его и тоже расплакалась. Целуя его щёки, сквозь слёзы, шептала:

— Не плачь, сынок, не плачь, потерпи ещё немного. Поезд скоро тронется, и на большой станции мы найдём еду.

Мишка перестал всхлипывать. Слёзы всё ещё капали на мамины руки, а в глазах продолжал гореть голодный огонь. Несколько мгновений мама всматривалась в них. Лицо её стало бледным. Она резко поднялась. Схватив сумку, крикнула:

— Я должна его накормить, — спрыгнула с вагона и побежала в сторону деревни.

Её фигура становилась всё меньше и меньше. А Мишка, захлёбываясь слезами, кричал:

— Мамочка, я уже не хочу кушать. Вернись, мамочка. Я не буду просить есть. Я уже большой.

Но мама не слышала его и вскоре скрылась в зелени палисадников.

Через несколько минут паровоз дал гудок. Начальник поезда засвистел, паровоз ответил вторым гудком, и состав, язгнув буферами, медленно двинулся на восток.

Мишка истерически закричал и попытался спрыгнуть с вагона. Но его подхватили и втянули обратно. Эшелон набирал скорость...

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

* * *

Догорает последнее облако
В тихом свете вечерней зари.
Перезревшее красное яблоко
Закатилось за кромку земли.

Скоро станет темно и приятно,
Скоро вылетит искристый рой.
В нашем доме тепло и уютно,
В нашей комнате истинный рай.

* * *

Сентябрь. Потускнели листья
Пирамидальных тополей,
И у рябин тугие кисти
Пылают с каждым днём сильнеей.

Дождём и ветром заморочен,
Озяб каштан любимый мой.
Лист пятипалый оторочен
Широкой бурюю каймой.

Стыдливо покраснели клёны,
Но под ударами судьбы
Блестящий лист темнозелёный
Хранят упорные дубы.

По-разному приходит осень,
Палитру летнюю глуша,
И об одном мы только просим:
«Постой! Не увядай, душа!»

* * *

Наши звёзды, видно, заблудились,
В чёрных дырах не нашли пути.
Мы без них нечаянно родились,
И без них придётся нам уйти.

Звездочёты зря сопоставляют
Дни рожденья, знаки зодиака,
И по циклам лет определяют,
Кто Петух, кто Бык, а кто Собака.

Наши судьбы неопределимы
И непредсказуемы как ветер.
Что скрывают эти анонимы,
Ни и-цзин, ни руны не ответят.

КАРТИНА «ПЕРЕД БОЕМ»

Трубач продул охрипшую трубу
И протрубил сигнал атаки.
До крови прикусив губу,
Привстали в седлах старые рубаки.

И кони закусил удила,
Огромные глаза глядят сердито,
Напряжены их мощные тела
И роют землю острые копыта.

Клинкам досадно узниками быть,
В темницах ножен ждуть они устали,
Им хочется блеснуть, колоть, рубить
В весёлом звоне закалённой стали.

Ещё все живы, целы и сильны,
И каждый верит в счастье и удачу,
Но дома матерн, предчувствием полны,
О сыновьях любимых горько плачут.

Жужжит в цветах рабочая пчела,
Не ждёт земля кровавого полива,
Но ангел смерти, распрямив крыла,
Уже парит вблизи неторопливо.

КРИТИКА

И

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЯЧЕСЛАВ ДЕМИДОВ

Пруссия... Откуда она взялась?

Коронация

Бранденбургский курфюрст Фридрих III был недоволен. Вокруг все становились королями: на польском троне воссел добрый знакомец, курфюрст Саксонский, на английском — прямой родственник, курфюрст Ганноверский... Быть курфюрстом в Бранденбурге — это, конечно, хорошо, их всего семеро, высших чинов Германской империи, избирающих императора, хотя, правду сказать, выборы давно уже превратились в пустую формальность, всем заправляют ставленники Габсбургов, а император сидит в Вене и чуть ли не помыкает делами курфюршества. С королём бы он так не обращался...

Но стать королём Бранденбургским? Пустое дело, ничего не меняет. Курфюрст ли, король ли Бранденбурга, — он, Фридрих, остается вассалом императора. Католика. Врага протестантов. Это ведь они, Габсбурги, начали Тридцатилетнюю войну и разорили все протестантские земли! Искоренить возжелали правую веру! Не вышло. Пять десятков лет живем в спокойном мире, они утихли вроде бы, — но нет, при случае всегда дают понять, кто защитник веры, а кто отщепенец... Добрые протестанты, король шведский, король датский уже не те... Совсем обессилели... А саксонский курфюрст ради польской короны перешел в католичество! Тьфу!... Слов нет, своих протестантов не прижимает, ему до них и дел-то особых нет, он Цвингер обустройства, он Дрезден хочет в маленький

Париж превратить! Ах, Париж, Париж!.. Курфюрстина только им и бредит, что ни год, по три месяца в Версале веселится... А ему, курфюрсту, Всевышним поручено быть здесь, в Берлине, последним защитником лютеран в Европе... Пасторов в Кёнигсбергском университете готовить...

Стоп! Кёнигсберг! Имя-то какое! И он хорош: в раздражении совсем запамятовал, что ведь герцог он Прусский! А Пруссия к императору не имеет никакого отношения. Никакого. И от короля Пруссии император не может требовать подчинения, — просить, просить обязан, доброго согласия добиваться!

Такими или другими подобными мыслями был охвачен курфюрст, — кто знает? Но совершенно точно знаем мы другое: он обратился к императору Леопольду со смиренной просьбой разрешить короноваться прусской короной. Советники императора старались, как могли, этому помешать. Они очень хорошо понимали, что независимый король в конце концов уведёт Бранденбург из-под императорской, по сути австрийской власти. Но Леопольд только хмыкал раздраженно. Война за испанское наследство требовала денег и солдат, а курфюрст Бранденбургский как бы невзначай обмолвился в просьбе, что императорские заботы ему очень близки, — вот только отпразднует коронацию, и тут же отправит тридцать тысяч солдат.

Леопольд прогнал советников прочь и уступил.

В Берлин императорский рескрипт пришел в самом начале декабря 1700 года, и семнадцатого числа Фридрих со всей семьей и двором отправился в Кёнигсберг. Зимы были тогда не нынешние, стояли жестокие морозы, но они не пугали будущего короля. Через двенадцать дней обоз из тысячи восьмисот карет и повозок достиг столицы герцогства Пруссия.

Страна на востоке

Много веков назад на побережье Балтийского моря, от Вислы на восток, жили племена пруссов и литвинов (литовцев). Литвины создали в конце концов своё мощное государство, такое мощное, что тогдашние польские князья очень с ним считались. А пруссы никакого государства не создали, и поляки старались их взять, как говорится, в орбиту своего влияния. Однако язычники-пруссы не хотели быть под властью католиков-поляков.

Чтобы покорить пруссов и обратить в христианство, польский князь Конрад Мазовецкий в 1226 году обозначил границы «Польской Пруссии» и позвал сюда рыцарей Германского Ордена — или, как полностью они назывались, *Германских братьев Иерусалимского храма Святой Девы Марии*. В Иерусалим братья-рыцари пришли из Германии в 1192 году, во время третьего крестового похода. Они носили кресты на своих плащах, щитах, знаменах, и в прусских землях их называли крестonosцами. А вообще-то они принадлежали к монашескому ордену госпитальеров и, говоря по нынешнему, обеспечивали медицинское обслуживание участников крестового похода. Свою резиденцию Великий Магистр ордена устроил на Сицилии, в Палермо.

На южном же побережье Балтики рыцари занялись тем, ради чего их пригласили. Вместе с польскими князьями приводили в покорность пруссов, а для себя строили замки и города — Мариенбург (по-польски Мальборк), Кёнигсберг (теперь Калининград) и множество других.

А еще восточнее пруссов, на юго-западе нынешней Эстонии и севере нынешней Латвии, была Ливония, заселенная вольными языческими племенами ливов (отсюда и название), эстов и летгалов. Германские купцы приплывали с Готланда и вели с язычниками меновую торговлю. Деньги аборигенам были совершенно ни к чему. Обитатели Ливонии не знали ни князей, ни императоров, — только старейшин, да в случае войны выбирали военачальника. Не было у них и письменности. Всё, что мы знаем о тех временах, известно из летописей датчан, шведов и немцев.

С благословения бременского архиепископа германские миссионеры занялись обращением ливов и эстов в христианство. Весной 1201 года молодой немецкий епископ Альберт фон Буксгевден основал город Ригу и сделал его опорным пунктом движения католичества на восток. Год спустя епископ создал духовно-рыцарский *Орден Меченосцев*, или *Ливонский Орден*. Рыцари называли друг друга братьями, давали обет никогда не жениться и всеми силами распространять Слово Божье.

Окрестные владыки приветствовали приход рыцарей. Славянский князь Владимир, сидевший в Полоцке, помогал, как мог, рижскому епископу. Их союз

окончательно закрепился, когда Альберт фон Буксгевден женил своего брата на дочери Владимира. Германский император Генрих II Оттон по просьбе Альберта формально присоединил Ливонию в 1207 году к своей империи, сделал епископа своим вассалом, а землю — императорской.

Меченосцы покоряли Ливонию почти двадцать лет. Особенно крепко отбивались эсты. С севера на них давили шведы, но шведский король Иоани I потерпел в Эстляндии полное поражение. Датский король Вальдемар II построил, правда, на эстонском берегу крепость Ревель (ныне Таллинн), однако и его эсты разбили, даже взяли в плен.

Только недолгой была их независимость. Сопротивляться такой мощной военной организации, какой был Ливонский Орден, они не смогли. Через пять лет весь юг Эстляндии, то есть северная Ливония, подпал под власть рыцарей. Датчане захватили север. Но спустя столетие, потерпев несколько поражений от восстававших эстов, датский король Вальдемар IV продал в 1346 году непокорную землю рыцарям.

Так вся Эстляндия оказалась орденским владением.

А сам Ливонский Орден в 1237 году стал младшим партнером Германского Ордена, или Тевтонского, — потому что *тевтонами* римляне именовали вообще германские племена. Всех немецких рыцарей в балтийских (то есть остзейских) землях с тех пор называли одинаково тевтонцами и крестоносцами. Но мы должны, конечно, помнить о различии между Ливонским и Германским Орденами, потому что исторические их судьбы были разными.

В 1241 году вместе с поляками крестоносцы разбили в битве под силезским городом Лигницем татаро-монгольское войско Бату-хана, остановили его движение в северные области Европы. За военную помощь польский король отдал крестоносцам города Позен (ныне Познань), Гнезен (Гнезно) и Калиш.

Но постепенно рыцари на прусских землях вышли из-под контроля польских королей. В союзе с Орденом Меченосцев образовалось независимое рыцарско-монашеское государство Великая Пруссия, которое в начале XIV века стало занимать громадную территорию: от Новгородской республики на востоке до Германской империи на западе, от острова Готланд

на севере до Великого княжества Литовского и королевства Польского на юге.

...Шло время, Великая Пруссия слабела. Особенно чувствительным было для неё поражение 1410 года под Грюнвальдом, где рыцари были разбиты соединенными силами литвинов, поляков и русских. В конце XV века она распалась на несколько частей, постепенно все больше и больше раздробляясь. Появилось самостоятельное государство под тем же названием *Ливонский орден* со столицей в Риге. Потом оно превратилось в Курляндское герцогство и стало вассалом Польши. Северная же территория с Таллинном отдалась добровольно шведскому королю Эрику XIV.

Принадлежавшие Германскому Ордену земли бывшей Великой Пруссии распались тоже. Их западная территория отошла к Польской короне под названием «Королевская Пруссия» — *Прусы Крулевски*.

И то, что смог сохранить в своем владении Германский Орден, по мирному Торуньскому договору 1466 года оказалось в вассальной зависимости от Польского королевства и обозначалось на польских картах как «Княжеская Пруссия» — *Прусы Ксянжсече*.

Вассальная присяга Альбрехта

Когда умер в 1510 году саксонский герцог, Великий Магистр Ордена, на это место избрали двадцатилетнего Альбрехта Гогенцоллерна — сына маркграфа Ансбахского.

Мать Альбрехта, Зофья Ягеллонка, была сестрой тогдашнего польского короля Сигизмунда I Старого (1467-1548). Рыцари Ордена очень надеялись, что король не станет требовать от племянника ни вассальной присяги, ни уплаты налогов. Альбрехт и попытался было ничего не платить и присяги не давать. Однако Сигизмунд был настроен серьезно и начал в 1519 году войну, чтобы заставить Великого магистра и его рыцарей признать права Польши.

Военные действия закончились перемирием на четыре года. Сигизмунд посоветовал Альбрехту крепко подумать, а тот и без советов ясно видел: сопротивляться у Ордена сил уже нет. Что делать? Как поступить? Альбрехт отправился на родину, в Нюрнберг. Там ничего дельного ему, увы, никто не предложил.

Тут надо сказать, что Альбрехт, будучи католиком (человека иного вероисповедания прусские рыца-

ри никогда не пригласили бы в Великие Магистры), заинтересовался учением обновителя церкви Мартина Лютера и не препятствовал проповедовать лютеранство в землях Ордена.

Поэтому, возвращаясь из Нюрнберга, Альбрехт завернул в Виттенберг к Лютеру и спросил совета. Лютер сказал, что самое лучшее для церковного государства, каким является Орден, — это стать светским. А самое лучшее для Альбрехта — это жениться.

Великий магистр так и поступил. Германский Орден распустил, монашеские обеты с рыцарей снял, сам же принял святое причастие по протестантскому обряду. И всеми силами стал распространять в Пруссии протестантство. Орден прекратил свое существование в 1525 году, и Альбрехт принес 10 апреля вассальную присягу королю Сигизмунду в столичном польском городе Кракове, получил сан ленного герцога Прусского.

Присяга была обставлена очень торжественно.

На рыночной площади построили по этому случаю возвышение. Там сидел на троне Сигизмунд с короной на голове, в расшитой золотом и украшенной драгоценными камнями и жемчугом мантии. Рядом стояли архиепископы и епископы, воеводы, за ними другие высшие светские и духовные сановники, бургомистры, рыцари и дворяне. За порядком следили две тысячи вооруженных воинов в блестящих латах.

Великий Магистр остановил коня перед возвышением, спешился и, стоя, обратился к Сигизмунду с просьбой возвести его в герцогский сан и отдать ему в ленное владение Прусские земли.

Один из высших чинов королевства, подканцлер Петр Томицкий, принял из рук короля хоругвь — особого рода знамя, и инвеституру — грамоту, после чего передал эти символы власти Альбрехту. Тот поблагодарил короля за милость, встал перед ним на колени.

И тогда Сигизмунд собственноручно вручил ему особое *ленное* знамя из белого шелка с вышитым черным орлом. У орла были золоченые крылья, золотые шпоры и золотая цепь на шее. А на груди сверкала золотая буква S — знак власти Сигизмунда.

Король сказал: «Мы, король Сигизмунд, соглашаемся на Вашу, достойный герцог, и Ваших подданных просьбу и передаем Вам во владение земли, города, местечки и замки в Пруссии, что и подтверждаем

вот этим знаменем. И надеемся что ты, дорогой племянник, будешь всегда с благодарностью вспоминать о нашей к тебе любви и расположении».

На коленях у Сигизмунда лежало Евангелие. Альбрехт положил два пальца на книгу и произнес слова присяги:

«Я, Альбрехт, пруссов штеттинских и померанских, кашубов, славян и других племен герцог, бургграф Пюрнбергский и Риги владетель, во имя Бога Всемогущего клянусь и присягаю, что вместе с подданными моими, духовными и светскими, буду с этой минуты навечно слугой верным, кротким, честным и послушным моему милостивому господину Сигизмунду, королю польскому, и его потомкам, и всей Короне Польской, и вести себя так буду, как поступать доброму ленному герцогу пристало, то есть договору и всему в нем записанному согласно. Да поможет мне Бог и Святое Евангелие!»

Сигизмунд взял в руки государственный меч *щербец* и посвятил Альбрехта в рыцари, троекратно ударя его плашмя по плечу и каждый раз произнося ритуальную формулу: *Терпи эти удары, и ни одним больнее!* А потом надел ему на шею золотую цепь.

Сопровождавших Альбрехта князей и множество польских и прусских дворян тоже посвятили в рыцари. Церемония закончилась молитвой в кафедральном соборе. И начался королевский пир.

При расставании Альбрехт получил богатые подарки. Король назначил ему *юргельт* — ежегодное жалованье в 4.000 золотых червонцев. Он полагал, что Альбрехт останется в католичестве, но герцог принялся распространять в Пруссии лютеранство, особенно после женитьбы на датской королеве Доротее, исповедовавшей эту религию. И чтобы иметь образованных пасторов, открыл в 1544 году в Кёнигсберге университет.

Альбрехт хотел обратиться в протестантство даже Польшу, всё пытался убедить Сигизмунда, каким благом станет переход в новую религию, независимую от Римского папы.

Король просьбам не внял, но добрым отношениям протестантского герцогства Прусского с католической Польшей это не повредило.

Герцог умер в 1568 году на рассвете в местечке Тапев. Получив печальное известие, в тот же день вечером скончалась в Кёнигсберге его вторая жена гер-

цогиня Анна.

Наследники слабоумного герцога

Титул ленного герцога наследовал пятнадцатилетний сын покойного, Альбрехт-Фридрих. Члены правящего совета герцогства обращались с мальчиком так, что он заболел и помутился рассудком.

Польским королём был тогда Стефан Баторий. Он поступил благородно: не стал отбирать герцогство под свою власть, а назначил опекуном несчастного юноши его родственника и наследника — маркграфа Георга-Фридриха Ансбахского, из того же рода Гогенцоллернов.

После этого известия все Гогенцоллерны, в том числе и опекун-маркграф, приехали в город Геру. Они заключили договор о том, что Пруссия всегда будет принадлежать только Бранденбургским курфюрстам; им надлежит добиваться от польских королей ленного права на Пруссию.

И когда маркграф умер в 1603 году бездетным, опекунство над слабоумным герцогом Прусским в силу договора перешло к курфюрсту Иоахиму-Фридриху.

Он был весьма дальновиден. Хотя, ещё будучи наследным принцем, женил в 1594 году своего сына Иоганна-Сигизмунда на старшей дочери слабоумного герцога Анне, для гарантии наследования вступил как опекун в брак с младшей герцогской дочерью, 20-летней Элеонорой. Разница в годах не смущала пятидесятилетнего Иоахима-Фридриха, пусть по тем временам его полагали глубоким стариком.

Принц-наследник Иоганн-Сигизмунд находился в Польше, когда из Берлина прискакал гонец: умер курфюрст Иоахим-Фридрих. Казалось бы, сыну надо спешить в Бранденбург. Но слишком ценна была Пруссия, слишком опасно было ее потерять. Земля принадлежала польской короне, герцогство было отдано в *лен* — то есть из королевской милости. Входил в силу *ленный договор* только после утверждения польским сеймом...

А на польском сейме могло быть всяко. Особенно учитывая знаменитое право «свободного запрета» — *liberum veto*, по которому сорвать любое постановление был способен каждый шляхтич, завопивший на всё собрание: «Не позволю!!!»

Словом, новый курфюрст на похороны не поехал.

Три года просидел в Польше, вел долгую и искусную дипломатию, чтобы подтвердить, а потом и изменить в свою пользу статус опекуна. Интриговать же требовалось и против польских шляхтичей, и против прусского дворянства, которое за прошедшие века совсем позабыло германскую дисциплинированность и крайне возлюбило польскую вольницу. Грамоту на опеку вручил курфюрсту польский король Зигмунт III Ваза в 1609 году.

А через два года на варшавском сейме Иоганн-Сигизмунд получил для себя и всех своих потомков право быть ленными герцогами Прусскими и платить дань польской короне. Ленная присяга состоялась по старинному, известному нам обычаю. А сколько денег ушло на подкуп сенаторов, и не сосчитать... Герцогство Пруссия стала наследственным владением Гогенцоллернов. Но заметьте — вовсе не частью Бранденбургского курфюршества!

Государь приехал из университета

После смерти Иоганна-Сигизмунда новый бранденбургский курфюрст Георг-Вильгельм отправил своего 14-летнего сына Фридриха-Вильгельма подале от Тридцатилетней войны, в Голландию, к ее правителью и своему родственнику, известному полководцу Фридриху-Генриху Оранскому. Принц-наследник четыре года изучал в Лейденском университете право, историю и политику.

Отец умер 1 декабря 1640 г., принц стал бранденбургским курфюрстом Фридрихом-Вильгельмом I, будущим Великим Курфюрстом. Год спустя в Варшаве его торжественно провозгласили ленным герцогом Прусским. Обряд присяги польской короне, нам известный, соблюдался строго. Но, вернувшись в Берлин, курфюрст все время думал, как покончить со своим малоприятным положением вассала польского короля.

Случай представился в 1655 году: началась очередная шведско-польская война.

Шведы пошли в Польшу старым путем — по Бранденбургским землям. Подобно отцу, курфюрст решил сохранять нейтралитет. Хотя у него уже была 26-тысячная армия с 72 пушками, спорить со шведами он еще не решался. К тому же обе враждующие стороны, и Швеция, и Польша, делали ему всяческие вы-

годные предложения. И так как он был не столько большой полководец, сколько великий политик, он решил вести двойную игру.

Дождался, когда значительные территории Польши оказались захвачены шведами, и заключил с их королем Карлом X договор о союзе. Да не только о союзе — о вассальном подчинении герцогства Пруссия шведскому монарху. Признав себя ленным герцогом, Великий Курфюрст предотвратил вторжение в прусские земли. Более того, получил от короля Карла еще один лен — Вармийское епископство, когда-то принадлежавшее крестоносцам. Король обещал подарить четыре польских воеводства — только чтобы курфюрст в полной мере исполнял свои вассальные обязательства.

Бранденбургские войска участвовали в большом сражении под Варшавой 28-30 июля 1656 года и в ее взятии, но Великий Курфюрст старался не допустить разгрома Польши. Ведь усиление Швеции вовсе не входило в его планы! Со свойственной ему дипломатичностью он ушел от дальнейших битв на стороне Карла X. Тем временем поляки собрались с силами. Военное счастье от шведов отвернулось.

В этих обстоятельствах шведский король очень дорожил дружбой курфюрста. И подписал с ним 20 ноября 1656 года новый договор — о полной независимости герцогства Пруссия от кого бы то ни было. Конечно, этот договор для Польши ничего не означал.

Поэтому Великий Курфюрст, он же герцог Прусский, тут же повел тайные переговоры с Польшей! Они завершились в 1657 году, и шведский король с изумлением узнал о потере союзника. Договор с бывшими противниками-поляками принес Великому Курфюрсту полную суверенную власть над Пруссией. Плюс 120 тысяч талеров, которые они согласились заплатить в возмещение его военных издержек.

Любые войны заканчиваются, закончилась Оливским миром (1660) и польско-шведская. Права Бранденбурга на Пруссию были подтверждены теперь уже многосторонним международным договором.

Он очень не понравился ни прусскому дворянству, ни горожанам. Все считали, что Польша не имела права так поступить без их согласия. Бранденбургский государь был известен своей непреклонностью.

Столичный Кёнигсберг просто кипел, отказываясь присягать! Во главе недовольных там стоял Иероним Роде. А спустя несколько лет (в 1668 году) дворянин фон Калькштейн прибежал к польскому королю просить помощи для восстания. Он говорил, что пруссаки хотя и немцы в большинстве, но только и мечтают вернуться под власть Польши. Курфюрст требовал выдать мятежника. Польский король отмалчивался. Тогда фон Калькштейна хитростью заманили в Мемель, где он и расстался с жизнью. Великий Курфюрст был человек суровый. В конце концов все мятежные выступления были пресечены. Права и привилегии местных самоуправлений курфюрст сильно ограничил. Действовал без поспешности, но упорно. Кстати, не только в Пруссии, но и в родных бранденбургских землях.

В том же 1660 году Великий Курфюрст сделал совершенно необычный для того времени (да и для нынешнего) шаг. Он объявил указом, вошедшим в историю как Потсдамский эдикт, что на его землях могут селиться все, кто захочет. Даже бродячие солдаты-наемники, даже преступники, если, конечно, они хотят начать честную жизнь. Что принимает в подданство всех, а какую религию они исповедуют, это их дело.

Вот где корни открытости Германии для приюта беженцев и преследуемых!

И в Бранденбург потянулись десятки тысяч протестантов – голландцев и французов, которым на родине не было жизни из-за их религиозных убеждений. Своим указом Великий Курфюрст даровал им всевозможные привилегии и льготы, бесплатный прием в цехи, освободил на десять лет от налогов.

Нашли приют в Берлине изгнанные из Вены евреи, 1671 человек. Великий Курфюрст пригласил эти семьи, ставшие потом своеобразной еврейской аристократией, в свои владения. Особым указом гарантировал им защиту, право заниматься торговлей, разрешил поступать в высшие учебные заведения. Правда, богослужения в синагоге не разрешил, – только в домашней обстановке. Другими указами подобные права даровал евреям, пришедшим из Польши, Гамбурга, разных германских земель.

Голландцы создали в Бранденбургском курфюршестве систему водоотводных каналов, осушили болота, ввели новые приемы скотоводства и огородин-

чества, оказали большое влияние на архитектуру. Французы, которых только в Берлине было до 6 тысяч, открыли шелковые и шерстяные мануфактуры, наладили производство зеркал и свечей. Появились крупные торговые дома.

Морской флот Бранденбурга вышел на океанские просторы: колонисты в 1683 году высадились в Гвинее, основали там город Гросс-Фридрихсбург и принялись осваивать африканскую территорию. В Балтийском же море бранденбургские корабли занялись каперством — грабили шведские торговые суда.

Государственный доход Бранденбурга возрос с 40.000 талеров до полутора миллионов! Великий Курфюрст был бережлив, умел собирать налоги, обложил акцизными сборами все товары житейского обихода.

Почувствовав вкус к большой политике, он старался играть в Европе более значительную роль. Делал это со свойственной ему прагматичностью.

Так, вступив в войну против Франции на стороне императора Священной Империи и увидев, что толку от императорских войск мало, помирился с французским королем Людовиком XIV. В результате все земли Великого Курфюрста, захваченные в этой войне французами, — Клеве и другие территории — были ему возвращены.

Но, вспомнив польско-шведский опыт, Великий Курфюрст буквально через год снова вступил в союз со своим императором. Против Франции, разумеется. Король Людовик XIV, узнав о вероломстве, потребовал от союзников-шведов действий против изменника.

И опять, как когда-то, шведская армия под командованием генерала Врангеля вступила на бранденбургскую территорию и двинулась к Берлину. Солдаты вели себя крайне жестоко, оставляли позади лишь руины и пожарища. Они рассчитывали без особого труда крепко наказать немцев. Но времена были уже иными. Срочно выступив из Магдебурга, где он находился, Великий Курфюрст нанес шведам 28 июня 1675 года разгромный удар под Фербеллином, в нескольких десятках километров от Берлина. И вот ирония судьбы: отличной воинской подготовкой бранденбургские войска были обязаны своим учителям — приглашенным в свое время шведским офицерам...

Объявил Швецию своим врагом и император. К

его войскам присоединились армии Нидерландов, Испании и Дании. Так что к декабрю шведская власть на землях Германской империи кончилась.

Наконец-то настоящий король!

Мы оставили курфюрста Фридриха III на въезде в Кёнигсберг. А там его встречала огромная толпа подданных. Всем уже было известно, какое необыкновенное событие состоится в их древнем городе: на главной площади устраивались два фонтана, из которых в день коронации польется вино!

Торжество состоялось 18 января, в восемь утра. В огромном дворцовом рыцарском зале курфюрст короновал сам себя, возложив обеими руками на голову корону. Он был необыкновенно внушителен в своем красном камзоле, с пурпурной мантией на плечах, и придворные от души возглашали ему здравицы. А народ на улицах неистовствовал: такого пиршества никто еще и никогда не задавал. На вертелах жарилось все, что могло жариться, а вечером был устроен грандиозный фейерверк. Конечно, нашлись и такие, которые потихоньку ехидничали насчет того, что самокоронование — жест не самого лучшего тона. Они забыли, что именно так в 1229 году в Иерусалиме возвел себя в императорское достоинство Фридрих II, новоизбранный кайзер Священной империи германской нации...

Но как бы там ни было, а корона прочно покочилась на голове курфюрста, и теперь он в сознании полного права короновал свою супругу Софию-Шарлотту, которой страшно наскучила вся эта церемония.

Король Фридрих I возвращался в Берлин из Кёнигсберга два месяца. Подданные на всем пути устраивали пышные празднества, стараясь перещеголять друг друга. Они знали, что новый король любит роскошь и веселье.

А тому для покрытия своих чудовищных трат пришлось ввести новый налог — коронационный. Но, в конце концов, добыча стоила того.

Подобно отцу, Фридрих III... виноват, уже Фридрих I, всегда имел на мысли рост величия и мощи государства. Но если Великий Курфюрст добивался этого заботой об армии, об удобных дорогах и вообще путях сообщения, об искоренении разбоев, то новый король шел к своей цели иным способом: подра-

жал Франции и королю Людовику XIV. «Сегодня у нас все должно быть французским: французский язык, французская одежда, французская кухня, французские танцы, французская музыка и французская болезнь», — писал иронически немецкий журналист в 1689 году.

Хотя, правду сказать, новый король, несмотря на все слабости, был человеком умным и деловым. Так, он никогда не забывал, что является ближайшим наследником английского монарха Вильгельма III. И едва этот бездетный государь умер, Фридрих, тогда еще только курфюрст, принял титул принца Оранского и ввел свои войска в графства Линген и Мёрс, чтобы те не достались другим наследникам. Приобрел к своим землям город Эльбинг (ныне Эльблонг в Польше): его кто-то оставил его отцу в залог, а денег не вернул. Графство Текленбург купил у графа Сомс-Браунфельса за 300 тысяч талеров, а область Петерсберг, да еще города Нордхаузен и Кведлинбург — у курфюрста Саксонского за 340 тысяч талеров. И многие другие земли то получал в наследство, то присоединял в силу родственных связей.

Откуда же брались деньги? Немалая часть появилась потому, что король продолжал политику своего великого отца. Фридрих принимал и приглашал отовсюду эмигрантов и беженцев. Даже издал книгу о выгоде селиться в его владениях. Форму выбрал удачную, доходчивую: вопросы и ответы. Так что мастера, крестьяне, торговцы, ученые, архитекторы, художники шли в Бранденбург со всех концов Европы — из Пфальца, Берна, Цюриха, Праги, Зальцбурга и других мест... Пришедшие с берегов Рейна пфальцские беженцы заселили Магдебург, крайне обезлюдевший после Тридцатилетней войны и разразившейся чумы...

На деньги Фридриха III открылся в 1694 году университет в Галле, в 1699 — Академия искусств в Берлине, а еще год спустя — Бранденбургское научное общество (впоследствии Прусская Академия наук), первым президентом которого стал великий Лейбниц, разносторонняя ученость которого была необыкновенной.

А вот с королевским титулом история получилась щекотливая и не такая простая, как поначалу казалось. Титул Фридриха I звучал странно, если не сказать иронично: не прусский король (*König von Preußen*),

а только «король в Пруссии» (*König in Preußen*). Крошечным различием — *in* вместо *von* — во всеуслышание подчеркивалось, что король не совсем настоящий.

И ведь, правда: император, разрешив королевский титул, формально не имел права этого делать, Пруссия находилась не в его владениях. Конечно, королевским саном мог наградить папа Римский, — однако лишь католика, курфюрст же был протестантом.

Никого не уважающие поляки в газетах и между собой называли бранденбургского курфюрста не королём (*Rex*), а «правлящим государем» и даже «корольком» (*Regnant*). Они ссылались на заключенный в 1657 году Велявский мир между Бранденбургом и Польшей, по которому земли герцогства считались собственностью польской короны. Собственностью, лишь милостиво отданной в правление курфюрсту Бранденбургскому и его потомкам — Гогенцоллернам. Более того, согласно статье шестой Велявского договора, Польша имела право вернуть Пруссию в свои границы, если династия Гогенцоллернов пресечется.

Так что по всем этим причинам королевское достоинство Фридриха некоторые государи признавать не торопились. Франция и Англия — до тысяча семьсот тринадцатого года, а Польша — так аж до тысяча семьсот шестьдесят четвертого...

Поляки понимали, что статья формальная, невыполнимая по существу (династия обширная, разветвленная, — какое уж там пресечение!), но долгое время, вплоть до Фридриха Великого, государственные чиновники Пруссии присягали сначала на верность Прусскому королю, а потом на верность королю Польши: вдруг случится присоединение?

* * *

Прусское королевство резко изменило политическую и религиозную карту Европы. У протестантов, преследуемых католиками, появился сильный покровитель — прусский король.

А примерно через полтора столетия окончательно сформировались две европейские империи: Германская, протестантов Гогенцоллернов, выросшая из Пруссии, и Австро-Венгерская, католиков Габсбургов.

Я^{НА} КУТИН и А^{НДРЕЙ} БРОЙДО

Мятущийся стих: Цветаева

Введение

Выполнять функцию хороших стихов в той или иной системе могут лишь тексты высоко для нее информативные, то есть не угадываемые наперед, — так писал в своих работах о поэзии Ю.М.Лотман. Повторимость текста оказывается индивидуальным, только ему присущим способом пересечения многочисленных повторяемостей. Слово в стихе — это слово из естественного языка. И тем не менее, оно оказывается не равно самому себе. Оно получает в поэтической структуре особый смысл.

Основой сочетаемости слов в тексте может стать снятие некоторых общеобязательных в языке запретов. Снятие запрета значимо, только если оно ощутимо, — таким образом в систему со структурой ожидания — предсказуемость, повторения — вводятся нарушения, и они оказываются носителями значения.

Но как бы поэт ни относился к словам, замечает Ю.Лотман. В этом заложено некоторое противоречие, и каждая поэтическая школа решает его по-своему. В противоположность акмеистам, Цветаева старается вырваться за пределы слов, разрушить культурную традицию литературных ассоциаций. Мир Цветаевой имеет свой список слов и свою систему синонимов и антонимов, одно и то же слово в мире ее стихов может оказаться

собственным антонимом. Игра и песня, как мотив ранних стихов, замещаются в ее позднем творчестве совсем другим — трагическим — содержанием. В ее поэмах жизнь предстает, как место, где жить нельзя («Поэма конца»); дом оказывается малодомашним («Дом»).

Как у всякого поэта, перестройка объективного мира в художественный происходит у Цветаевой через разъятие мира на элементы, уравнивание этих элементов и выстраивание их в новую иерархию.

1. Поэтическая функция

Давно замечено, что повторяемость фонем в стихах подчиняется иным законам, чем в нехудожественной речи. Наиболее частый случай (Лотман, 1996) — слова подбираются таким образом, чтобы определенные фонемы встречались чаще или реже, чем в языковой норме.

Норма языка реализуется особым образом — незаметностью. Пока мы не замечаем, можно быть уверенным, что построение соответствует норме. Нарочитое сгущение в употреблении того или иного элемента делает его заметным, структурно активным.

Согласно Роману Jakobсону, слово обладает многими функциями, одну из которых он называет поэтической. Поэтическая функция — это «то свойство слова, которое можно назвать его рефлексивностью, то есть его обращенность на себя». В ранних «Тезисах» Пражского лингвистического кружка содержалось его высказывание: «Поэтическое творчество стремится опереться на автономную ценность языкового знака, оно обращено не на означаемое, а на сам знак».

В связи с этим Jakobсона начинает занимать звуковая структура народных речений, их смысл, а порой и кажущаяся бессмыслица. В заумных русских заговорах он найдет элементы глоссолалии (говорения на воображаемых языках в состоянии общения с Богом или духом) и обнаружит, что в разных языках глоссолалия обладает общими чертами, схожими с теми, что находят в раннем детском словесном творчестве. Jakobсон дарит Хлебникову свою коллекцию колдовских слов: *каанди, инди, якутяшма, биташ...*

Эта «заумь» и «косноязычие» станут для Jakobsona стимулом, чтобы открыть неизведанную раньше сторону звучания и значения слова и заговорить о создании новой науки о смысловоразличительной функции звуковых единиц — фонологии. Так Jakobson исследует пары слов, различающихся только одной фонемой, например «дом-том» в обычном русском языке или «дворяне-творяне» у Хлебникова, и говорит о связи звучания (означающего) со значением (означаемым). Отсюда он приходит к пониманию построения поэтического текста путем повтора звуков, ключевого слова, имени.

2. Мир параллелизмов

Согласно Jakobsonу, в языке различаются значения материальные (лексические) и грамматические, чисто реляционные. «Поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалентность в принцип построения сочетаний. Симметричная повторенность и контраст грамматических значений становятся художественными приемами». Именно из нарушений нормальных условий связности текста исходили в словотворческих поисках Андрей Белый, Велимир Хлебников и вслед за ними Марина Цветаева. Слово в поэзии Хлебникова утрачивало предметность, затем внутреннюю и, наконец, даже внешнюю форму. Так и в поэме Цветаевой «Новогоднее»:

Верно, плохо вижу, ибо в яме.
Верно, лучше видишь, ибо слыше:
Ничего у нас с тобой не вышло.
До того, так чисто и так просто
Ничего, так по плечу и росту
Нам — что и перечислять не надо.
Ничего, кроме — не жди из ряду
Выходящего, (неправ из такта
Выходящий!) — а в какой бы, как бы
Ряд вошедшего б?

И дальше:

Припев извечный:
 Ничего хоть чем-нибудь на ничто
 Что-нибудь — хоть издали бы — тень хоть
 Тени! Ничего, что: час тот, день тот,
 Дом тот — даже смертнику в колодках
 Памятью дарованное: рот тот!
 Или слишком разбирались в средствах?
 Из всего того один лишь свет тот
 Наш был, как мы сами только отсвет
 Нас, — взамен всего сего — весь тот свет!

Новый год 1926 года приблизился к Цветаевой с вестью о смерти Рильке. Выношенный ею мир ее любви к Рильке рухнул. Эта поэма — реквием по Рильке. Можно ли было рассказать об этом другой — логической — последовательностью слов? Рваться, как из клетки, к такому же, как она, — двойнику-поэту, в стихах обнимающему всю вселенную! Все уходит, проходят мимо: один, испугавшись сильного душевного потрясения, еще один — к другой женщине, и Он — в мир по ту сторону достижимости. Невозможно остаться в мире, где ее не слышат: мир вытесняет поэта. Это выливается в стих — водопад видений, вереницу ассоциаций. Эта быстрая скачка мыслей, этот поток обрывочных картин, образов — душа ищет освобождения. Но оно не приходит. То же в «Попытке комнаты»:

Лиши: от «посадки
 Негу» до узловой
 Сердца: «Идет! Бросаться —
 Жмурься! А нет — долой
 С рельс!»

Начиная с этого времени, в ее стихах появляется суицидальная тенденция: подготовка к смерти, подготовка к дороге, ведущей за ушедшим. После 1926 года она начнет пронизывать все созданное Цветаевой.

Новые стихи — «Поэма воздуха», в конце стоит пометка: *в дни Линдберга*, то есть дни первого трансатлантического перелета. Торжество: летчик — это тот же поэт, преодолеватель всего земного. Это простое торжество трансформируется в метаморфозы подни-

мающегося над землей духа. Гаспаров отмечал, что поэма состоит из восьми отрывков: первый и последний метрически совпадают, средние можно объединить в две группы по три, каждая из которых заканчивается вставкой в другом размере, отмечающей композиционную паузу. Весь текст пронизан параллелизмами и повторами:

Ну вот и двустинье
Начальное. Первый гвоздь.
Дверь явно затихла,
Как дверь, за которой гость.
Стоявший — тақ хвоя
У входа, спросите влов —
Был полон покоя,
Как гость, за которым зов
Хозяина, бденье
Хозяйское. Скажем так:
Был полон терпенья,
Как гость, за которым знак
Хозяйки — всей тьмы знак! —
Та молния поверх слуг!
Живой или призрак —
Как гость, за которым стук.

(1-ый отрывок)

Гвоздь в начале поэмы — это символ первого приступа к созданию и первого шага к смерти. «Дверь явно затихла» — напряженность ожидания гостя, страх перед непонятным, стоящим — не двигающимся — за дверью.

Полная естественность.
Свойственность. Застой.
Лестница, как лестница.
Час — как час (ночной).
Вдоль стены — распластанность
Чья-то. Отдышав
Садам, кто-то явственно
Уступал мне шаг —
В полную божественность
Ночи, в полный рост
Неба. (Точно лиственный
Шум. Пены о мост. . .)

(2-ой отрывок)

Гаспаров говорит: Двойник-гость (распластанность чья-то) постепенно сливается с героиней. Начинается подъем, по мере которого происходит развоплощение — освобождение души от прослойки чувств, слияние и растворение. Образ мертвой петли — по видимому, летчик погибает, но хвала Богу за то, что создал материю брэнной и этим дал возможность высвободиться духу. Появляются радость освобождения, легкость, быстрота и животворящая влага.

В 5-7-ом отрывках изменяется структура воздуха, он становится пуст, редок и приносит боль.

Голубиных грудок
Гром — отсюда родом!
О, как воздух гудок,
Гудок, гудче года
Нового! Порубок —
Гуд, дубов под корень.
О, как воздух гудок,
Гудок, гудче горя
Нового, спасиба
Царского. Под градом —
Жести, гудче глыбы...

(7-ой отрывок)

Так описывается приближение к концу небес, к тверди небесной, которая окружена «гудким» воздухом, как твердь земная — «густым». Эта твердь — граница Бога, место соприкосновения Бога и мира, то есть место творчества. Здесь появляется звук и начинается творчество: гуд — песня.

От бесконечной динамики поднятия ввысь стих переходит к бесконечной интеллектуальности живущего наверху. Возносящаяся мысль является, по видимому, аналогией образу Божьего сына в христианстве, но у Цветаевой, в противовес статике христианских представлений, все находится в динамике — бесконечном движении.

Путь наверх — подъем из мира чувств в мир мысли — проходит через семь небес, семь воздушных — от тверди земной к тверди небесной. Зародыш этого образа присутствовал уже в поэме «Новогоднее»: «не один ведь рай, за ним другой ведь рай?» и — «не один

ведь Бог, за ним другой ведь Бог?». За твердью начинается именно такой Бог, именно такое движение в бесконечность.

Обрывки образов komponуются в параллельные группы, связанные ближними и дальними перекличками: «полная естественность», «полная божественность», «полная неведомость», «полная срифмованность». Повторы такого рода прерываются и возникают снова. На них накладывается другая система повторов:

О, как воздух легок
О, как воздух ливок
(«скользок», «редок», «резок», «цедок»)
О, как воздух гудок.

Появляется тема испытания и отбора: «Воздух цедок, цедче сита творческого... глаза Гетевского, слуха Рильковского...»

Как говорит Гаспаров, вся эта восклицательно-вопросительная интонация, разорванность, отрывистость, использование неназванностей, подсказываемых структурой и фоном подтекста, напоминает технику кубизма в живописи.

Тема поэмы, начавшейся как торжество, постепенно замещается на восхождение на смерть.

3. Синтаксическая раскрепощенность

Синтаксис Цветаевой, так же, как ее пунктуационный стиль рассчитаны на передачу малейших нюансов поэтического смысла. Если обычно двоеточие применяется для разъяснения или раскрытия содержания, то у Цветаевой сфера употребления этого знака далеко выходит за рамки установленных норм.

Использование двоеточия у Цветаевой приводит к укрупнению смысла того, что за ним находится, оно служит тому, чтобы подчеркнуть и выразить новый поворот темы. Или — местоимения и глагольные рифмы. Они долгое время считались слишком простым материалом поэтической речи. Как обращается с ними Цветаева?

Напрасно глазом — как гвоздем,
Пронизываю чернозем:

В сознании верней гвоздя:
Здесь нет тебя — и нет тебя.

Напрасно в ока оборот
Обшариваю небосвод:
Дождь! дождевой воды бадья.
Там нет тебя — и нет тебя.

Последние строки обеих строф нагружают в контексте образ «ты» двойственным содержанием — при переходе через тире оно из человеческого превращается в божественно всеобъемлющее.

Картина, разворачивающаяся далее в этом стихотворении почти целиком построена на звуковом и грамматическом сталкивании местоимений:

Нет, некоторое из двух:
Кость слишком — кость, дух — слишком дух.
Где — ты? где — тот? где — сам? где — весь?
Там — слишком там, здесь — слишком здесь.

Не подменю тебя песком
И паром. Взявшего родством
За труп и призрак не отдам.
Здесь — слишком здесь, там — слишком там.

Не ты — не ты — не ты — не ты.
Чтобы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть —
Бог — слишком Бог, червь — слишком червь.

На труп и призрак — неделим!
Не отдадим тебя за дым
Кадил,
Цветы
Могил.
И если где-нибудь ты есть —
Так — в нас. И лучшая вам честь,
Ушедшие — презреть раскол:
Совсем ушел. Со *всем* — ушел.

Как пишет Лотман, местоимения «ты, мы, нас» играют здесь в разных формах роли и субъекта и объекта предложения, объединяясь в члены реляционной пары «я — ты». Структура «ты» дополняется мес-

тоимениями «тот», «сам». На фоне синтаксического, интонационного и ритмического параллелизма происходит нарастание противопоставления: небосвод и чернозем, верх и низ, земля и воздух, — противопоставление духовного и материального начал. Это противопоставление еще усиливается добавлением слова «слишком», тем более яркого, что оно не несет здесь с собой количественного сравнения:

«Кость слишком — кость, дух — слишком дух»,

«Здесь — слишком здесь, там — слишком там»,

«Бог — слишком Бог, червь — слишком червь».

Весь текст стихотворения в отношении к «я» и «ты» оказывается набором синонимов, вариантов единой инвариантной схемы. Вся поэтическая идея текста задается структурой значения этих местоимений. В процессе этих перечислений достигается то, что не может быть достигнуто в нехудожественном тексте: одно и то же слово присоединяется само к себе как другое («Здесь нет тебя — и нет тебя...») «Там нет тебя — и нет тебя...»), а стоящие далее синонимические ряды: «Где — ты? где — тот? где — сам? где — весь?»

«Не ты — не ты — не ты — не ты...», — еще более полно, по-новому раскрывают семантику «ты»: оно включает в себя значение единичности (тот, а не другой), личности и целостности («весь»). В нем же проступает другой семантический лейтмотив: невозможность для «ты» остаться собой ни в земном, ни в духовном мире. Мы видим, как местоимение становится своей противоположностью — именем собственным (*Лотман*).

Описывая путь становления Цветаевой, Гаспаров говорил, что в 1915-16 гг в поэзию Цветаевой было впущено тяжелое, темное, враждебное — то, что до того времени оставалось за ее рамками — допускалось только легкое, воздушное. Это повлияло на структуру стиха. До того четкий, классический, он стал аморфнее, расплывчатее, непредсказуемее. Задачей стиха стало — соприкоснувшись с миром, претворить его в высокое и трагичное. Цветаева отказывается от игровой романтики и сохраняет стиль дневниковой лирики, при этом день дневника сжимается до момента,

впечатление — до образа, мысль — до символа. Центральным образом начинает не развиваться, а уточняться. Сказуемое становится самым незаметным словом среди вереницы подлежащих. На глазах читателя как бы подыскивается адекватный образ. Стихотворение превращается в нанизывание ассоциаций по сходству, в бесконечный поиск выражений для невыразимого:

Встают — два солнца, два жерла,
Нет, два алмаза! —
Подземной бездны зеркала,
Два смертных глаза.

Пристрастие к рефренным построениям, начавшись в песнях и пьесах, останется у Цветаевой излюбленной основой организации стихотворения на всю жизнь. При этом иногда рефренный параллелизм идет от нащупывающих строф к центральному образу (ранние стихи), иногда от центрального образа к нащупывающим уточнениям (поздние стихи).

В предельном своем выражении поздняя манера Цветаевой является уже углублением не в формулу, и в рефрен. Не в образ, а в слово, в звуковой и морфологический состав слова, в которых она-поэт силится уловить тот глубинный смысл, который, наконец, даст ей возможность высказать не поддающееся высказыванию.

4. Звук

Главное у Цветаевой — мысль, неудобная, доведенная до конца, и — звук. Бродский писал: «Цветаева самый искренний русский поэт, но искренность эта прежде всего есть искренность звука — как когда кричат от боли. Боль биографична, крик — внеличичен». Сама Цветаева определяла свое отличие от других поэтов, например, Пастернака, так: «Пастернак в стихах видит, а я слышу».

Поэзия звука впервые была открыта шаманами. Третьяков как-то обмолвился, что в *истории поэзии всех времен и народов мы неоднократно наблюдаем, что поэту, по выражению, важен «только звук»*. Лотман же одним из первых указал на то, что музы-

кальность стиха не есть явление акустическое по своей природе, и что в этом смысле противопоставление музыкальности и содержательности не верно. Музыкальность стиха рождается за счет того напряжения, которое возникает, когда одни и те же фонемы несут различную структурную нагрузку. Чем больше несовпадений — смысловых, интонационных, грамматических и других — тем звучнее кажется текст. В то же время звучание рифмы связано непосредственно с ее неожиданностью, то есть имеет не акустический или фонетический, а семантический характер.

Приводя стихотворение из цикла «Деревья», Лотман выделяет строфу

Други! Братственный сонм!
Вы, чьим взмахом сметен
След обиды земной.
Лес! Элизум мой!

и говорит, что главнейшая роль в ней принадлежит звуку «о» — этот звук играет здесь роль общего знаменателя — чувство перекрывает, включает в себя все сущее.

Отрывистость слов и фраз, отрывистый перечислительный и восклицательный синтаксис, часто оттененный фонетической гладкостью, плавностью иных фраз, обилие звуковых повторов, позволяют говорить о преемственности стиха Цветаевой от Хлебникова и Андрея Белого — это те же приметы, которые характеризуют «язык богов» Хлебникова. Несколько стрóf из цикла «Деревья»:

Вот ещё
Сонмы просыпающихся тел:
Руки! — Руки! — Руки!
Словно воинство под градом стрел,
Спелое для муки.

Целые народы
Выходцев! — на милость и на гнев!
Види! — Буди! — Вспомни!
...Несколько взбигающих дерев
Вечером, на всхолмьс.

Ослабленные синтаксические связи — или загадка, разгадка которой дается двумя концевыми строками? Разве не напоминает это технику стиха Хлебникова, где «заумь» чередуется с понятным, и через него сама получает некоторые очертания смысла? И — не напоминает ли это детские считалки?

Вернемся еще раз к стихотворению Цветаевой «Напрасно глазом — как гвоздем». Если сопоставить интонации его начальной и конечной частей, то видно, что они отражают противопоставление миров: между собой сталкиваются декламация (внешний мир) и медитация (внутренний мир). Вместе с заменой «я» на «мы», — замечает Лотман, — это создает парадоксальную конструкцию — с переходом к внутреннему миру интонация делается менее личной. Сходный тип парадоксальности цветаевской логики можно видеть и в ярком и звучном стихотворении 1920-го года:

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я сёрбрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — брзнящая пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и надгробные плиты...
В купели морской крещена — и в полете
Своем — непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволие.
Меня — видишь кудри беспутные эти? —
Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская.

Все поэтические средства стиха служат здесь детализации и выявлению оппозиции: «я — другие». Стих инструментализируется, озвучивается триумфально, гимнически и под конец переходит даже в своеобразное Величание. Польский исследователь Ежи Фарино замечает, что как в музыке, громкость и дли-

на противостоят здесь длине. Он делает интересное наблюдение: это противопоставление сопровождается переакцентовкой библейской системы: признак вечности приписывается сугубо материальному, т.е. заведомо бренному аспекту человеческого бытия.

Нехватка любимого у Цветаевой обесценивает все земное, все обыденное — все, в чем нуждается человек для своего существования.

Пол — для ног.
Как внедрен человек, как вкраплен! —
Чтоб не капало — потолок.
Помнишь, старая казнь — по капле

В час? Трава не росла бы в дом —
Пол. Земля не вошла бы в дом —

Всми — теми — кому и кол
Не препятствие ночью майской!
Три стены, потолок и пол.
Все, как будто? Теперь — являйся!

Это — из поэмы «Попытка комнаты». Звук — истерия, отчаяние, — и потом смена мелодии, переход к фольклорной, частушечной:

Все вырастет,
Не ладь, не строй.
Под вывеской
Сказать — какой?

Взаимности.
Лесная глушь.
Гостиница
Свиданье Душ.

Именно это — переплетение конструкций на разных уровнях, живущих своей жизнью, обеспечивает цветаевскому поэтическому тексту его непредсказуемость — полноту информационного значения на всех этапах его движения (Лотман).

5. Мятущийся стих

Работа Цветаевой может быть воспринята, как исследование — погоня за тем, что помимо ее воли

откроется в конце стихотворения, почти всегда неожиданно для самого поэта (Е. Фарино).

Это исследование — исследование логики, по которой разворачивается поток сознания, как например сон.

Вытягивание смысла из глубины слова, в сочетании с ощущением бездонности этой глубины, стремлением добраться до конца, является характерным для всего ее творчества. Стихи поздней Цветаевой становятся как бы концентратом такого поэтического мышления.

В особенности в её поэмах речь идет о разрыве вообще, а не о разрыве с реальным человеком. Возможно, эффект отстранения возникает для нас от несопоставимости лавины стихов с подлинным персонажем, вызвавшим их к жизни.

Бродский говорил, что если сравнивать Цветаеву с англоязычными поэтами, Хопкинсом, Крейном, то и у них можно увидеть похожую усложненную, цветаяевскую дикцию, непростой синтаксис, прыжки через само собой разумеющееся, но только у Цветаевой есть эта открытость и незавершенность мира, в котором память не совпадает с самой собой. Цветаева — строгий судья самой себе. И именно эта потребность заставляет ее в стихе договаривать все до конца — черта, по которой ее поэзию можно назвать кальвинистской.

« Женственный легкий цветок на бессмертном кусте », — писал в элегии, обращенной к Цветаевой, Рильке.

« Цветаяевское «я», — пишет Ежи Фарино, — выдает одну из наиболее характерных склонностей — склонность к перевоплощениям, к трансформациям. Оно не обладает элементарной тождественностью самому себе. Не знает устойчивости, постоянства — ни в плане выражения, ни в плане содержания ».

Как все новое, необычное, Цветаева была современниками понята не сразу или не была понята вообще. Но при создании новой концепции культуры, которая происходила в 20-ом веке, ее присутствие в поэтическом мире обойти уже было невозможно. Несмотря на отличия позднего периода, все характерные чер-

ты ее поэтического стиля были явлены в ранних стихах. В поэтическом «я», выступающем из её стихотворений, подчеркивается несоприкасаемость и вездесущность, как предельно интенсивная форма бытия. «Будучи бесконечным, вечно меняющимся потоком, цветаевское «я» сохраняет свою целостность как духовно-чувственное космогоническое начало», — к этим словам Ежи Фарино мы готовы полностью присоединиться.

Но Цветаева своей жизнью показала и хрупкость человека. Из Ванден она писала, что не может принять океан. Наверное, она не могла понять его. И он не принял её и раздавил.

Список литературы:

1. А. Бройдо, Д. Кутин. Сложность и гармония русской поэтической речи. Собрание Боян. (A. Broido, J. Kutin. Studies in Linguistics & Poetics). <http://math.ucsd.edu/~broido/>
2. Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. - М. : Изд. Независимая газета, 2000. - 327 с.
3. Гаспаров М. Л. Избранные статьи. Новое литературное обозрение. М. 1995. - 475 с.
4. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. - С.-Петербург, Искусство-СПБ, 1996. - 848 с.
5. Райнер Мария Рильке, Борне Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. Москва, Книга, 1990. - 256 с.
6. Ежи Фарино. Из заметок по поэтике Цветаевой, (Jerzy Faryno, Warszawa) В сб. Марина Цветаева. Studien und Materialien. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 3. Wien 1981.
7. Марина Цветаева. Studien und Materialien. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 3. Wien 1981
8. Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. -М.: Эллис Лак. 1999. -592 с.
9. Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М. ; Российск. Гос. Гуманит. Ун-т, 1999. 920 с.

ЮЛИАН ТУВИМ

МЫ, ПОЛЬСКИЕ ЕВРЕИ¹

*Моей матери в Польше
или любимой её тени*

I

И сразу слышу вопрос: «Откуда это *мы*?». Вопрос в значительной степени оправданный. Задают мне его евреи, которым я всегда объяснял, что я — поляк, а теперь зададут мне его поляки, для огромного большинства которых я как был, так и остаюсь евреем. Что ж, ответ и тем, и другим.

Я — поляк, потому что мне так нравится. Это моё личное дело, и я не подумаю по этому поводу ни перед кем отчитываться, объяснять, обосновывать. Я не вздумаю делить поляков на «чистокровных» и «нечистокровных», оставляя это чистокровным расистам, родимым и неродимым гитлеровцам. Я разделяю поляков, как и евреев, как и другие народы, на умных и глупых, порядочных и жуликов, интеллигентных и занудливых, унижающих и униженных, джентльменов и неджентльменов etc².

Разделяю также поляков на фашистов и антифашистов. Эти два лагеря, естественно, не являются однородными, каждый из них богат оттенками красок

¹ "Nowe widnokrugi" Nr. 6, 1945 (Написано в апреле 1944 года в Нью-Йорке).

² etc. (et cetera - лат.) - и так далее.

различной интенсивности. Однако водораздел явно существует, и скоро его удастся очень отчётливо обозначить. Оттенки останутся оттенками, однако четкость водораздела определится, и сам он углубится самым решительным образом. Я мог бы сказать, что в политическом смысле разделяю поляков на антисемитов и антифашистов. Потому что фашизм — это всегда антисемитизм. Антисемитизм — международный язык фашистов.

II

Если бы, однако, пришлось обосновывать свою национальность или, вернее, национальное самосознание, — я поляк, поляк, исходя из очень простых, почти примитивных причин, в основном рациональных, частично всё же иррациональных, однако без мистической приправы. Быть поляком — это не честь, не награда и ни в коем случае не привилегия. Как дыхание: я ещё не встречал никого, кто гордился бы тем, что дышит.

Поляк — потому, что родился в Польше, где вырос, где меня воспитали, где я учился; потому, что в Польше я был счастливым и несчастным; потому, что из эмиграции хочу возвратиться именно в Польшу, если бы даже в других местах мне был бы обещан рай.

Поляк — потому, что по какому-то очень странному предрассудку, который не поддаётся ни научному, ни просто логическому объяснению, я жажду, чтобы меня после смерти приняла и всосала польская земля и никакая иная.

Поляк — потому, что мне в отцовском доме по-польски об этом сказали; потому, что я там с пелёнок польской речью вскормлен был; потому, что мать учила меня польским стихам и польским песенкам; потому, что, когда возникло первое поэтическое потрясение, оно разразилось польскими словами; потому, что то, что в жизни стало главным, — поэтическое творчество, не мыслится мною ни на каком другом языке, даже если бы я им великолепно владел.

Поляк — потому, что исповедовался по-польски о тревогах первой любви и по-польски лепетал о при-

несённых ею радостях и бурях.

Поляк ещё и потому, что берёза и верба мне ближе пальмы и кипариса, а Мицкевич и Шопен дороже Шекспира и Бетховена. Дороже по причинам, которых никакой логикой не объяснить.

Поляк — потому, что я перенял у поляков определённую долю их национальных недостатков. Поляк — потому, что моя ненависть к польским фашистам значительно сильнее, чем к фашистам другой национальности. И считаю, что это чрезвычайно важное доказательство того, что я поляк. Однако прежде всего я поляк потому, что мне так нравится.

III

И тут слышу голоса: «Ладно, но если поляк, то почему в таком случае «Мы, евреи»? Спешу с ответом: «ПО КРОВИ». — «Значит, расизм»?! — «Нет, вовсе не расизм, как раз наоборот».

Разной бывает кровь: та, что течёт в жилах, и та, что течёт из жил. Первая — это жидкость, циркулирующая в теле, и значит, её изучение в компетенции физиологов. Кто приписывает этой крови какие-то другие, кроме физиологических, особые характеристики и таинственные свойства, тот, как это мы видим, в результате превращает города в развалины, уничтожает миллионы людей и в конце концов привлекает карающий меч на собственное племя.

Другая кровь — это именно та, которую главарь международного фашизма извлекает из человеческих существ, чтобы доказать преимущества своей крови над моей. Это кровь безвинно убитых миллионов людей. Это не кровь, затаённая в венах и артериях, а кровь, ставшая видимой. Такого потока мученической крови мир не знал со дня своего сотворения, а кровь евреев, именно кровь евреев и ни в коем случае не «еврейская кровь», течёт самыми широкими и глубокими потоками. Почерневшие её ручьи сливаются в бурную пенистую реку.

В ЭТОМ НОВОМ ИОРДАНЕ Я ПРИНИМАЮ КРЕЩЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ, ЧЕМ ВСЕ ИНЫЕ КРЕЩЕНИЯ: жгучее, мученичес-

кое братство с евреями. Примите меня, братья, в эту почётную общность, общность безвинно пролитой крови. К этой общине, к этому алтарю я жажду с сегодняшнего дня принадлежать. И пусть титул — еврей *doloris causa*³ — будет дан польскому поэту породившим его народом не за какие-то заслуги, потому что заслуг у поэта перед этим народом нет.

Я буду считать это авансом на будущее и самым высоким отличием за те несколько польских стихов, которые, возможно, меня переживут, и память о которых будет связана с моим именем, именем Польского Еврея.

Мы, польские евреи... Мы, вечно живые, — те, кто погиб в гетто и в лагерях, — и мы, призраки, — те, кто из-за морей-океанов вернёмся в страну и среди руин станем пугать целостью сохранённых тел и призрачностью будто бы сохранённых душ.

Мы — правда гробов и призрак существования, мы — миллионы трупов и несколько тысяч, может быть, десятков тысяч как-будто не трупов, мы — братская могила, конец которой теряется где-то за горизонтом, и мы — кровавый обрубок, какого ещё не видела и не увидит история.

Мы, удушенные в газовых камерах, перетопленные на мыло, которым не смоешь следов грехов всего мира, содеянных против нас.

Мы, мозги которых разбрызгивались по стенам наших убогих жилищ и по каменным заборам, рядом с которыми нас расстреливали только за то, что мы евреи.

Мы — Голгофа, на которой может поместиться необозримый лес крестов. Мы те, кто два тысячелетия тому назад дали человечеству одного, Римской империей безвинно казнённого, Сына Человеческого, смерти которого хватило, чтобы ему стать Богом. Какая же религия должна вырасти из миллионов смертей, пыток, унижений и разведённых в последнем отчаянии рук?

³ *doloris causa* (лат.) — за страдания (Тувим даёт остро звучащий перифраз принятого в академической среде латинского изречения *honoris causa* — для почёта, почётный: «профессор *honoris causa*»).

Мы — Шлёмы, Срули, Моськи, пархатые, бейлисы, гудлаи, имена которых превзойдут имена Ахиллов и Ричардов с лъвиными сердцами.

Мы вновь в катакомбах, в бункерах, под мостовыми Варшавы, утопающие в вони канализационной жижи, провожаемые удивлёнными взглядами здешних постоянных обитателей — крыс .

Мы с винтовками на баррикадах, среди руин наших разрушаемых с воздуха нищенских жилищ, мы — солдаты чести и свободы.

Йойне, шёл на войну! Пошёл, уважаемые господа, и погиб за Польшу.

Мы, для которых крепостью был порог обрушившегося на нас дома.

Мы, дичавшие в лесах, кормившие детей наших кореньями и травой.

Мы, ползающие, скрывающиеся, настороженные, с раздобытой каким-то чудом за последние гроши или вымоленной где-то двустволкой.

«А слышал пан анекдот о еврее-партизане? Он, напе коханый, выстрелил, да и со страху в штаны наложил! Ха-ха-ха!»

Мы — Йовы, мы в скорби по сотням тысяч наших Урсуль.

Мы — глубокие рвы раздробленных, перемолотых костей и мёртвых тел со следами пыток.

Мы — крик боли! Крик столь протяжный, что он отзовется в самых отдалённых веках.

Мы — скорбь; мы — хор, повторяющий могильное «El mole rachim», эхо которого будет передаваться от столетия к столетию.

Мы — величайшая в истории гора кровавого меса, которая удобрила Польшу, чтобы тем, кто нас переживёт, вкуснее казался хлеб свободы.

Мы — невообразимая резервация, мы — последние из могикан, остатки резни, которых какой-нибудь новый Барнум будет возить по свету, уведомляя в пёстрых афишах: «Неслыханное представление! The Biggest Sensation in the World! Польские евреи, живые и настоящие!»

Мы — театр ужасов, Schreckenhammer, Chambre

de tortures! «Слабонервных просят выйти из зала!»

Мы, над чужими реками сидящие и плачущие, как когда-то над реками Вавилонскими. По всему миру оплакивает Рахиль детей своих, но ей не сыскать их. Над Гудзоном, над Темзой, над Евфратом, Нилом, Гангом и рекой Иордан блуждаем мы в рассеянии, взывая: «Висла, Висла, мать наша, серая Висла, не от зари порозовевшая, а от крови!» Мы, которые даже могил наших детей и матерей не отыщем: по всей отчизне легли они, в одну огромную могилу распростерлись. И нет того единственного места, где бы ты мог цветы возложить, и придётся тебе, как сеятелю зерно, широко их разбрасывать: авось, упадут на дорожную могилу.

Мы, польские евреи... Мы — легенда, источающая кровь и слезы. Кто знает, не придётся ли писать библейскими словами: «Чтоб вырезаны были на камне резцом железным и оловом на вечные времена». (Иов XIX, 24)

Мы — апокалипсис, достойный глубочайших исторических изысканий.

Мы — плач Иереми: «Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча. Ты поубивал их в день гнева Твоего, закалал без пощады!». «Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями». «Воды поднялись до головы моей, и я сказал: погиб я». «Я призываю имя Твоё, Господи, из ямы глубокой». «Ты видишь, Господи, обиду мою; рассуди дело моё!». «Воздай им, Господи, по делам рук их: пошли им помрачение сердца и проклятие Твоё на них!». «Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной». (Плач Иереми 11-21; III- 53, 54 ,55 ,59, 64, 66).

* * *

Над Европой высится огромный и всё растущий скелет-привидение. В его пустых глазницах горит огонь жестокого гнева, его пальцы сжались в костлявый кулак. Он наш вождь и диктатор, он будет нам диктовать права наши и деяния.

*Сокращенный перевод с польского
Марка Шейнбаума*

НОВЫЕ
ПОЭТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕВОДЫ

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

* * *

(Из Поля Верлена)

И лес, и поле
в покрове снежном,
согласно роли,
лежат прилежно.

Вверху утрата.
Скажи на милость:
луна куда-то
запропастилась.

Стоят понуро
дубы, раздеты.
Торчат фигуры
их силуэтом.

Вверху утрата,
скажи на милость:
луна куда-то
запропастилась.

Зимой длинной
весь полк наш жалкий
без дисциплины
бредёт вразвалку.

И лес, и поле
в покрове снежном,
согласно роли,
лежат прилежно.

СОНЕТ
(Из Мориса Роллина)

Гнилой подвал — мой нынешний ночлег.
На жёстком топчане я ночи коротаю.
Я к этому пришёл. Я лучшего не знаю.
Я обречён закончить здесь свой век.

О, Вавилона шум! О, святость Мекк!
Я в них давно уже мечтами не витаю.
Абсента рюмка мне и даже чанка чаю —
вот что сейчас мой остановит бег.

Я язвами изрыт. На мне висят лохмотья.
В них спрягал хлеба чёрствого ломоть я —
темного голод им сумею утолить.

За мной бездомных псов торопится орава
И каждый норовит хвостом вильнуть лукаво,
чтоб этим протянуть расположенья интъ.

С французского.

ЗВОНАРЬ
(Из Стефана Малларме)

Лишь трепетный рассвет свои глаза откроет,
едва засветит он свой утренний фонарь,
тогда Мадонна шлёт приветствие земное
ударом в колокол задумчивый звонарь.

Под музыку его вокруг кружатся птицы,
крылом пытаясь обогнуть литую медь.
Он благовест несёт, которым восхитится
не только праведник. Любой захочет петь.

Я вроде звонаря. Во славу Идеала
пытаюсь повторить тот колокольный звон,
чтоб заглушить грехи, — увы, их так немало,
их собрала судьба во мне со всех сторон.

Но если все мои попытки будут тщетны,
уйду в небытие, без звука, незаметно.

С французского

КАТО
(Из Эмиля Верхарна — фрагмент)

Писнув в лицо воды, сонливость одолев,
и этим завершив дневное предисловье,
дверь настежь отворив, проветрив душный хлев,
лопатою убрав автографы коровьи,

уселась отдохнуть коровница Като.
И тяжестью своей прогнув скамью немного,
при этом важное припомнив кое-что,
в коров вонзила взгляд свой по-хозяйски строго.

Затем приподнялась и, отвернув фонарь,
передник нацепив, установив подойник,
молитву пробубнив, как добрый пономарь,
ногами уперлась о подопревший войлок.

К корове наклонясь, хватает за сосок
и тянет вниз его бесстрастно и умело, —
парное молоко песётся, как поток,
и аромат его, как у сирени белой.

И так два раза в день, всё снова повторив.
И мысль её при том всегда однообразна:
о парне-мельнике, что дьявольски красив,
и страсть к нему её захватывает властно.

А парец, как она, он до любви охоч...
Лудовых кулаков его страшится всякий.
С ней позабавиться он никогда не прочь
с неумимостью и яростью служаки.

В её крови ещё кипит любовный пыл.
Напоминает утро ей идти к коровам.
И жалость к ним опять ей прибавляет сил.
А жизнь себе течёт, здесь, под коровьим кровом.

С французского

ВЕТЕР
(Из Переца Маркиша)

Я в пути никогда не бываю один.
Я всегда окунаюсь в объятия ветра.
Он пьянит меня привкусом марочных вин
и мгновенно снимает усталости вето.

Он влюблён в меня нежно. Целует в лицо.
Не допустит в дороге он дремой забыться.
Шаловливо потреплет моё пальцецо
и румянит мне щёки незримой десницей.

Он мой верный товарищ. Мой трепетный друг.
С ним встречаю рассвет. Провожая закаты.
Он в труде помогает и делит досуг,
проявляет заботу отца или брата.

Сидши

ДНЕПРОВСКАЯ ВОДА
(из Переца Маркиша)

Днепровскою водой наполнил я ладони.
Прозрачной чистоты и свежести она.
Я не встречал ещё картины завершённой,
где золотой парчой отражена луна.

Я умываюсь этой мягкой лунной влагой.
И бодрости заряд кипит в моей груди.
Я это принимаю за большое благо,
что привелось мне встретить на пути.

А паруса малят. Зовут меня далече.
Они за горизонт хотят уплыть со мной...
И никогда мне не забыть тот добрый вечер,
украшенный днепровской лунною водой.

Сидши

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ О ПОЕЗДКЕ В ИЕРУСАЛИМ (Из Йозефа Рединга)

Обычный полдень,
а мгновенья
бегут стремительно куда-то.
Семьжды семь тому назад
прошедшей жизни синагога
хасидов истых.
И от усердия согбенный
седобородый староста стоит,
укрытый белым покрывалом,
наброшенным на немощные плечи,
устало отливающие медью.
И Торе из Сафада
привычно вековечное терпенье.
По сторонам дороги замелькали
деревья по пути в Иерусалим —
сочнозелёная примета.
Звучит приглушенное слово,
а рядом — дребезжащий смех.
Скупые жесты. Ствол печальный
и эпитафии слова:
ИХ БОЛЬШЕ НЕТ.

Шесть миллионов раз.

С немецкого

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ РОЗЫ (Из Рудольфа Борхарда)

Последние!.. Других и не ищи,-
Я не нашёл. Льёт дождь из серых туч,
Бушует ветер; неба тяжкий щит
Накрыл весь мир, гася последний луч.

Последние!.. Пока сорвал я их,
Я весь изранился, но всё же их сорвал,
И вырвал счастье призрачное вмиг
Я из шипов; и на колени пал

Перед тобой, предсмертный аромат.
— Ты не забудь: последние, сегодня!.. —
О, блёклый запах горестных утрат,
Нет тяжелей тебя и благородней!

Цветы, что раньше радовали глаз,
На стеблях перегруженных поникли;
Привял и выцвел лепестков атлас,
Которым восхищать они привыкли.

Весна мертва, в зенит восходит лето,
Умолкло сердце, не могу дышать,
И завершает путь смертельный этот
Последних роз душистая печать

С немецкого

*Этот перевод посвящается моим
землякам, поющим и играющим
на улицах Берлина.*

(Из Р. М. Рильке)

Богатым, счастливым легко молчать,
когда никому до них дела нет.
Но бедные вынуждены кричать:
«Взгляните, я исхудал как скелет
или: ребёнок мой тяжело болен
или: я так на земле обездолен
или: не вижу я белый свет
или: меня скрутило, сломало...

Но так как и этого тоже мало,

И люди, на них не желая смотреть,
проходят мимо, - должны они петь.

И часто поют они с чувством и толком.

Есть много странных людей, для которых
милее кастраты в церковных хорах,

Но Бог приходит и слушает долго,
когда надоест ему свнухов свора.

С немецкого

ИХ БИН А ИД!
(Из Ицика Фефера)

Презренья много поколений
Меня кололо и пекло,
Но море горя и мучений
Я вынес всем врагам назло.
В потоке общей неприязни
Я сохранил свой мир, свой быт,
И я кричал во время казни:
Их бин а ид! Их бин а ид!

Уроки стойкого Акивы
И мудрость Иешаи слов
Учили мести справедливой,
Внушали к истине любовь.
Я сын героев-Маккавеев,
Их кровь во мне всегда кипит,
И гордо объявлю везде я:
Их бин а ид! Их бин а ид!

На горе всем врагам беспечным,
Что злую смерть готовят мне
Под знаменем свободы вечным
Счастливым буду я вдвойне.
И я, когда придут силы
И сад цветущий зашумит,
Увижу я врагов могилы.
Их бин а ид! Их бин а ид!

Сидиш

НЕБОЛЬШАЯ РАЗМОЛВКА (из Маши Калек)

Ты мне сказал коротенькое слово.
А вытравить слова ничто не может.
Теперь за мной бредёт оно без зова
И гложет...

Да, многое подслудно зреет в нас,
Что чуждо всем и нам одним лишь любо,
Что спит, пока безмолвны губы,
Потом срывается и мучит, взбеленясь.

Что это было? Ничего. Всего лишь слово.
Остро и глупо. Уколело, как игла.
В подобных случаях я промолчать готова,
И я ушла.

Похожих вечеров похожа будет грусть,
Бессмысленно молчать, начать нет смысла речь,
Сквозь пальцы время будет тихо течь, —
Всё так, но без тебя я обойдусь.

Такой конец мне надо бы предвидеть.
Я превращаюсь в пессимиста-одиночку.

Два слога могут так легко обидеть.
Неужто это слово ставит точку?

С немецкого

ЯКОБЫ ПИСЬМЕННОЕ НАПОМИНАНИЕ (из Маши Калско)

Любезный господин! Ах, как несносно это!
Уж две недели, как от Вас ни слова,
Ни строчки, ни звонка и ни привета.
Что ж совершила я ужасного такого?
Мы говорили про удачи и потери,
И как любовь мы оба понимаем.
Сказала я, что я в любовь не верю.
...И были правы.

Приниска:

Я жду тебя четырнадцатый день,
А в каждом дне — две дюжины часов.
Что я тебя люблю, ты знаешь и без слов,
Но спрашивать сто раз тебе не лень.

Прекрасно знать, что ты на свете есть.
Что ждёт нас впереди? — Не знаю я ответа.
А ты уверен в том, что не ошибка это?
Но как прекрасно чувствовать: ты здесь.

Столь долгий спор у нас о теме — счастье — шёл...
Всё можно возратить, ты не пойми превратно.
И, кстати, — если даже не прочёл, —
Верни мне Гамсуна, пожалуйста, обратно.

С немецкого

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (из Маши Калско)

Тот вечер память вычеркнуть не сможет,
Ведь память может быть жестокою подчас.
Сказал ты: «До свиданья». Я кивнула молча. Всё же
Я знала: это был последний раз.

Я вышла. Две звезды довольно мрачных
Светили с неба тускло и печально.
И газовый фонарь невзрачный
Маячил и колол глаза нахально.

Я чувствовала взгляд твой сквозь окно;
Он шёл за мной по улицам забытым.
Остаться невозможно. — Решено.
Окончен счёт — и мы с тобою квиты.

Так рядом врозь живут в житейской каше...
Что остаётся? — Подогретая мечта
И необжитого пространства пустота
В так называемом духовном мире нашем.

Три года... Но теперь всё будет по-другому.
(По-деловому я решила так считать.)
Потом двенадцатым доехала до дома
И молча улеглась в свою кровать.

Я знаю: в день четвёртый января
Вполне исправное я сердце потеряла.
И всё же: откровенно говоря,
Родись я вновь, всё начала б сначала.

С немецкого

ТАК СКАЗАТЬ, МАЙСКАЯ ПЕСНЯ (из Маши Калско)

Порой в середине бессонной ночи,
Это, я знаю, со всеми бывает,
Когда сна праведных хочется очень,
(Так очень странно его называют),
Я вспоминаю об Эльбе, о Рейне,
О маленской, но родной мне Шпрее,
И хочется к тем берегам поскорей мне,
И с каждым разом боль всё острее.

Порой на Манхеттене, в гуще людей,
Когда за счастьем своим гонюсь я,
Слышу внезапно я звон цепей,
И мне вспоминается милая Пруссия.

Вердер в цвету... Существует ли это?
Смеют ли птицы по-прежнему петь?
Что шепчет Груневальд в дымке рассвета,
И в силах ли Хафель всё это терпеть?

Порой, встречаясь в моих вояжах
С пышною флорой, — glad to see* —
Я почму-то о скудных пейзажах,
О соснах в песках начинаю грустить.
Что знают примулы и тюльпаны
Про медицину и расовый суд...
На Уландштрассе мои каштаны
Уже цветут?

С немецкого

*Glad to see (zaed ty cu) — рад видеть (англ.)

СТИХИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТАНИСЛАВ ЛЪВОВИЧ

* * *

Кто моих не видел ручек?
Посмотри!
Кто моих не видел ножек?
Посмотри!
У меня ботиночки! У меня игрушки!
У меня кроватка! Там лежит подушка!
Одеяло тоже меня очень любит!
Спинку укрывает, ножки не забудет!

* * *

Одеялу надоело нашу Лару укрывать.
И подушке стало скучно под головкою лежать.
И они решили дружно от Ларисы убежать.
Тут простынка запищала:
«Вы меня забыли взять!..»

* * *

Ну-ка, зубки, вылезайте!
Мне кусаться помогайте!
Я хотя и не собака,
но большая забняка!
У меня уже два зуба,
мне кусаться очень любо!
Вот ещё один добуду
буду всех кусать!
И всюду!

* * *

Захотела наша Киска
съесть ларсины сосиски.
Возмутилась тут Лариска:
«Это ведь мои сосиски,
Не отдам их вредной Киске!»
Замяукала тут Киска:
«Дай мне хоть куснуть сосиску!»
И подумала Лариска:
«У меня ведь две сосиски!
Для меня, одной Лариски,
Две огромные сосиски!
Подарю одну я Киске:
Ну-ка, Киска! Живо к миске!
Получай свою сосиску!
А вторую... съем...сама!»

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЧКИ

Как увидит Ёжик пожинцы,
начинает Ёжик ёжиться.
Парикмахера бонится.
И постричься не стремится.
Потому что без иголки
жизнь ежиная — без толку.
«Я пошу их по привычке,
как пальто и рукавички.
Если ж вам нужны иголки,
обратитесь лучше к ёлкам!
Вон их сколько на ветвях,
в них все ёлки, как в мехах!»

* * *

Я падену ласты. Я надену маску.
И нырну я в море, словно водолазка.
Там на дне песочном я увижу рыбку.
Эта рыбка явно плавает с улыбкой!
Что-то вечно ищет в тине под камнями.
Дам я рыбке пицци, чтоб плыла за нами!

* * *

Детишки в трусиках цветных
песок скребут со дна морского...
И пляж распахнутый затих
в объятьях солнечного бога.

* * *

Пчёлка— медоносица
Надо мною носится!
Пчёлка, Пчёлка! Ты с иголкой!
Я тебя боюсь, как Волка!
Только Волк кусается,
А Пчёлка больно жалится!
Я от Пчёлки убежала,
Я боюсь иголки-жала

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ЧЕМОДАН

Вот и отпуск долгожданный!
Рот раскрылся чемоданный.
Заглотал он платья, блузки,
словно вкусные закуски,
туфли, тапки, сандалеты,
как сардельки и котлеты,
съел на сладкое платки...
Клац! Зашёлкнулись замки.

Чемодан раньше всех собирается
и довольный лежит,
улыбается —
сыт!
На дорогу всегда наедается.

КАК МЫ ИГРАЛИ

Мы шумели и галдели,
были всеми, кем хотели,
только не ребятами:
ржали жеребятами,
мекали ягнятами,
бскали козлятами,
тявкали щенятами,
мявкали котятами,
крякали утятами...
Наконец, устали —

мальчиками стали,
девочками стали.

А пока мы зверятами были,
нам стол для обеда накрыли:
сена сухого,
молока парного,
жуков, пауков,
живых червяков,
из соломы жвачку,
кити-кэга пачку...
Приятного аппетита!

ПОСЛЕ ДАЧИ

Запа-зана-запавеска на окне,
занавешиваешь ты тропинку мне,
занавешиваешь весь из брёвен дом,
и деревья возле дома над прудом.

Отогнул я занавески уголок
и увидел только тучи тёмный клоч —
позабыл, что лето кончилось уже,
что живём мы на девятом этаже.

ЗДРАВСТВУЙ, ДОМ!

Пахнет запахом знакомым,
пахнет вкусом, пахнет домом.
Мы в отъезде долго были,
этот запах позабыли.
Очень долго, в самом деле —
целых пол-то-ры не-де-ли.
Возвратились. Сразу дом
обнял нас своим теплом.
Дом нас помнит,
здравствуй, дом!

СКВОЗНЯЧОК

Не закрыли форточку на крючок,
и забрался в комнату сквознячок.
Он носился, куролесил и шалил,

паутинки и пылинки шевелил,
просквозил все пушинки у пера,
растревожил под пером комара.

Рассердился комар:
— Что за ветер, кошмар!
Зажужжал,
загудел,
побежал,
полетел

со всех ног, со всех крыл,
взял и форточку закрыл
на крючок.

И куда-то подсвоялся сквознячок.

ВЕРА ФЁДОРОВА

ХУДОЖНИЦА

Карандаш взяла Наташа,
села рисовать.
— Ох, художница ты наша, —
улыбнулась мать.

На рисунке — домик, сад,
дерево, листочки,
ярко-красные висят
яблоки-кружочки.

Небо, солнце, лес, река,
мостик изогнулся.
Только нет людей пока;
домик не проснулся.

Здесь добавила цветов,
пчёлки в них пасутся.
Вот рисует петухов,
как они дерутся.

Перья, пух! Серьёзный бой.
Слёзы льёт Наталка.
— Что, художница, с тобой?
— Петушков мне жалко...

ЛИЛОВАЯ ПЕСЕНКА

В одной стране еловой
влюблённый муравей
прииёс жасмин лиловый
Лилувушке своей.

Он преклонил колени
и протянул букет,
и отступили тени,
и стал лиловым свет.

Лиловые ресницы
взметнулись в небеса.
От счастья стала литься
лиловая слеза.

Лилловая улыбка...
Лилловые глаза...
Поёт лилово скрипка,
стихают голоса.

Под солнышком лиловым
в такой лиловый день
цветком большим махровым
расцвёл лиловый пень.

И ветерок весёлый
с лиловых дул полей.
Да здравствует лиловый
влюблённый муравей!

КЛУБНИКА

На клубничной грядке
все у нас в порядке.
Здесь живёт моя семья:
мама, папа, брат и я.

И ещё на ветке
будущие детки —
белоснежные цветы
небывалой красоты.

Мы растём и зреем,
дело разумеём.

Все обрезали усы,
тянем к солнышку носы,

подставляем щёчки —
маленькие бочки,
из земли мы тянем сок,
чтобы он питать нас мог.

Станет лето жарче,
будут щёчки ярче.
А когда пора придёт,
нас хозяйка соберёт,

понесёт в корзинке
продавать на рынке.
Приходите поскорей —
нету ягоды вкусней!

НОЧНЫЕ ШОРОХИ

Шорох к Шороху спешит,
Шорох Шороху шуршит:
—Слушай, что-то скучно жить,
даже не с кем пошалить.

Вот кошмар, сплошная тишь,
не кольшется камыш.
Шалью шелковой накрыт,
спящий лес в тиши стоит.

Даже ветер стих шальной,
ошарашен тишиной.
Не шуршит трава-ковыль.
В общем, Шорох, полный штиль.

Кошки тоже с крыш ушли,
может, мышек где нащли?
Что пыхтишь ты: кыш да пыщ?
Шорох, что ты, тоже спишь?

HOMOP

МАРЛЕН ГЛИНКИН

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Мне приснился сон... Вроде бы надоела мне жизнь в Берлине, где русские уже повсюду: в магазинах, в офисах, в социале, рэжете и в синагогах. До того надоела эта глухонемая жизнь в Германии, что решил я переселиться в Израиль, чтобы слиться со своим родным народом: по духу, по крови, по судьбе...

Сплю и вижу себя на исторической родине. А там такое...

По Тель-Авиву ходят одни большевики в кожанках. Крейсер «Аврора» уже причалил в Хайфе. Прозвучал холостой выстрел. Почту, телеграф и банки уже захватили путинские спецслужбы. В пустыне Негев создается Еврейская автономная республика. Кибуцы преобразуются в колхозы: «Заветы Ильича», «Единство», «Закрома Родины»...

В ходе коллективизации уже отмечают временные трудности с песком. В Стене Плача похоронен первый член Политбюро. Народ начал потихоньку гнать самогон, полностью одобряя и поддерживая политику партии и правительства.

В страну в опломбированном туалете самолета перебрался В. И. Ленин. В трюме корабля вслед за ним переправили Мавзолей. Перед отъездом в Израиль он его приватизировал, вложив в него все свои ваучеры.

Нескончаемым потоком идут евреи к вождю ми-

ровой революции, который так много сделал для них в прошлой жизни. В левом крыле Мавзолея установлены многочисленные кровати, где под звуки «Интернационала» пролетарии всех стран соединяются. В главном зале работает тир имени Фани Каплан. Стены тира украшены призывами: «Учись стрелять метко!»

О своих планах на будущее Ильич скромно говорит: «Хочу поднакопить немного шекелей и попробовать еще раз взять Зимний. В аренду... Лет на семьдесят...»

Ежедневно возле здания Кнессета собираются репатрианты из России. Уставший народ требует привязать шекель не к индексу цен, а к совести правительства. Правительство пока молчит. Совесть - тоже.

Повсеместно в Израиле создаются «Общества еврейско-еврейской дружбы», но дружба пока идет туго, потому что и сабры, и олим, глядя друг на друга, не верят, что перед ними евреи.

В синагогах открылись Красные уголки и кое-где из-под полы торгуют салом.

На иврите уже давно пишут русскими буквами и слева направо. И вообще, если русского не знаешь - из дома лучше не выходить, заблудишься, спросить не у кого. Евреев в медицинский и в университет на юрфак уже не принимают, но зато партия и народ едины.

Снабжение в больших городах неплохое. В Тель-Авиве к празднику Пейсах давали «Кильку в томате», «Сайру» и кровяную колбасу — троих в очереди растоптали.

В очередях крики: «У, жида понаехали! Убирайтесь в свою Германию!»

От этого крика я проснулся. Огляделся по сторонам и жутко расстроился... Лежу себе в берлинской постели и думаю: «Хорошо бы в Тель-Авиве лозунг соорудить: *“Вся власть местечковым Советам!”*».

КТО ЕВРЕЙ И ПОЧЕМУ ПАНИКА?

В России евреев уже мало, а антисемитов еще много. Поэтому ключевой вопрос антисемитов — кого считать евреем? Но считать антисемиты умеют плохо. И на всякий случай считают евреями всех, кто не сумеет доказать, что он не еврей. Дескать, все кругом евреи, либо в родстве с ними, либо предка в четвертом колене звали Яшей, а это уже подозрительно. Если ты действительно еврей, то представь документ, что ты не еврей и закрой рот свидетелям, которые видели в бане, что ты еврей.

Если с точки зрения антисемита посмотреть на Израиль, то там евреев много. И становится еще больше. Кому-то даже кажется, что их слишком много. И поэтому ключевой вопрос тот же: считать приехавшего евреем или не считать? А если считать, то как?

На всякий случай решили считать евреями всех, кто сумеет доказать, что они евреи. Чувствуете разницу? Там доказывай, что ты не еврей, тут — что ты еврей. И если ты действительно еврей, то представь документ, потому что твой единственный неоспоримый аргумент, который свидетели видели в бане, к делу не приложишь. Поэтому нужна справка о том, что бабушка твоя была Фрида, хотя и записана Федорой в целях конспирации; либо два свидетеля, которые видели, как тебя не принимали на работу, не пускали за границу и били в лицо, приговаривая: «Жидовская морда!».

Кого же все-таки считать евреем? Если верить антисемитам, евреи — это те, кто съедают все продукты. Но если так, то в Израиле вообще нет евреев. Потому что там едят очень много, а съесть все никак не могут. Антисемиты утверждают, что евреи — это те, кто устроились профессорами и поэтому не подмета-

ют улиц. В Израиле — евреи это те, кто устроились подметать улицы и поэтому не работают профессорами. И такая путаница — кто все-таки еврей, что разобратся в этом не могут ни евреи, ни антисемиты.

И все же еврей — это всякий, кто ступил на трудную, опасную и благословенную землю Израиля, потому что приехав туда и полюбив эту страну, каждый становится евреем, даже если раньше он просто считался им!

А в России из-за всего этого — паника! Идет утечка мозгов.

Причем, мозги утекают вместе с головами, в которых они хранятся.

А из физики мы знаем такой закон: если в одном месте что-то утекает, значит, в другом — это самое что-то притекает.

В Израиле приток мозгов! Там их нынче столько, что шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на мозг! Сплошные мозговые извилины, запутанные, как правила абсорбции. Если бы в мире проводился конкурс на самых образованных дворников, евреи были бы вне конкуренции.

Мозги сталкиваются в борьбе за почетное звание посудомоя, где само наличие мозгов необходимо, как хромота невесте. Мозги сталкиваются, и от столкновения получается сотрясение мозгов.

Зато страна может этим гордиться! Страна гордится мозгами, стекающими в нее по трапам самолетов!

Этим мозгам предстоит изменить облик страны. Но только в том случае, если ими перестанут гордиться! И начнут их использовать по назначению.

Конечно, и страну можно понять...

Кто же думал, что у евреев столько мозгов?! А мозги все текут и текут...

И очень нужно, чтобы они не утекали, как вода сквозь песок. И чтобы не спрямлялись извилины. И чтобы серое вещество, оставаясь серым, рождало весь яркий спектр красок, все восхитительное многоцветье израильской жизни.

Это нужно мозгам. Это нужно стране.

ЕДИНСТВО МНЕНИЙ

— Миша, ты за кого вчера голосовал на выборах в парламент Общины? — спросил Леонид знакомого по литературной студии, когда они случайно встретились на улице.

— А тебе зачем? — насторожился Миша.

— Ну как же. Если мы голосовали за одну и ту же группировку, скажем, «Единство», «Форум» или «Мельница», — значит, будем друзьями и сейчас отметим это дело. А если за разные... Может и до мордобоя дойти. Так ты за кого?

— А ты?

— Я первый спросил.

— Ну и что? Первый спросил — первый и ответчай.

— Я за своих голосовал, — подумав, сообщил Леонид.

— И я за своих голосовал. А твои свои — кто?

— А твои? Теперь твоя очередь первым говорить.

— Ага! Я скажу, а ты по морде. И вообще, голосование было тайное. Оба мы имеем право на тайну.

— У нас, членов нашей Общины, секретов не должно быть друг от друга, — сурово сказал Леня.

— Может, твои — они же и мои. Говори!

Леонид продолжал хранить молчание.

— Знаешь, что? Боишься прямо — намекни. Вот скажи: твои за интеграцию или против?

— За нее.

— О! И мои за нее. А борьба за сохранение единой Общины благодаря толерантности? Твои за это?

— Безусловно.

— А мои вообще за это и за укрепление общественных взаимоотношений благодаря человечности и заботе друг о друге.

— Это близко! А твои за стремление сделать управление Общиной гласным?

- А как же.
- А как насчет борьбы за равноправие всех членов?
- Со страшной силой. А твои?
- До победного конца. А с разбазариванием общинных денег твои покончат?
- В два счета. А твои?
- За квартал.
- Слушай! Наверное, мы за одну и ту же группу голосовали!
- Я и не сомневался. Мы же с тобой не только друзья, но еще и выдающиеся литераторы. «До и после» нас — хоть трава не расти. Поэтому говори: ты за какую еврейскую группировку?
- Договорились же — ты первый называешь. Ну?
- Баранки гну! — взорвался Михаил. — Чего ты пристал с этими выборами?! Это не выборы, а сплошное «нахамство»! Все, как в бывшем Союзе: еще до подсчета голосов у них 99, 9%! Поэтому я, если хочешь знать, вообще не ходил голосовать.
- Врешь?!
- Клянусь здоровьем моей тещи, Сары Мойсеевны, царство ей небесное. Так что свой выбор можешь объявить спокойно. Пальцем не трону. Мне до лампочки результат выборов бесчестного правления. Говори!
- Что говорить... Я тоже не ходил.
- Вот это да! — воскликнул Михаил. — А ты боялся, не совпадет. А мы взяли — и одинаково голоснули! То есть, не голоснули, но одинаково!
- Да и как могло быть по-другому: голосуй - не голосуй, а их «единство» не разрушить, — пояснил Леонид.
- Мы же друзья. Идем. Грех не отметить единство мнений, — и они разом толкнули дверь кнайпы.

ЧУДАКИ

Как часто садясь в комфортабельный, чистый, не наполненный шумом и гамом берлинский автобус, я вспоминаю городской транспорт из прошлой нашей жизни...

Здесь — электронное табло беззвучно объявляет остановки, там — мало кто из водителей вообще считал нужным их сообщать.

Правда, встречались отдельные экземпляры, вызывающие улыбки пассажиров и радостные возгласы: «Во, чудак!»

Помню, на киевском 14-м автобусном маршруте водителем был здоровенный веселый парень. Он объявлял остановки и обращался к пассажирам со смешными собственными стихами:

Пассажиры хорошие,
Бросайте в кассу гроши!
В моем автобусе нету хамов —
Мужчины уступают свои места дамам!

Однажды совершенно неожиданно автобус затормозил: прямо перед колесами оказался маленький старичок с авоськой, наполненной булочками и бутылками кефира. Переходя улицу, он задрал голову, глядя на проплывающие в небе облака. Наш водитель вместо ругани и угроз спокойно сказал:

— Папаша! Если не будешь смотреть, куда идешь, ты попадешь туда, куда смотришь!

В этом автобусе пассажиры улыбались. Выходили с явной неохотой, весело приговаривая: «Ну и чудак!». Да, тот давний водитель был явный представитель чудесного племени чудаков.

Славные, милые чудаки! Как жаль, что мы не встречаем их в Берлине. А ведь их так нам не хватает для ощущения прелести жизни. Правда, чудаки встречались не только среди водителей автобусов.

У моего приятеля были дедушка и бабушка, ко-

торых обожал весь Киев. Они до самой смерти любили друг друга как молодожены. В семьдесят лет дедушка не разрешал бабушке надевать темные вещи, считая, что они ее старят. В день празднования золотой свадьбы он на дверях своей квартиры вырезал надпись: «Люба + Леня = Любовь!» Всю жизнь он оберегал бабушку и баловал, как невесту. Сам покупал ей все, вплоть до шпилек для волос. На день рождения всегда приносил ей «Красную Москву».

В том же доме жил друг его детства, громила-грузчик, грубиян, скандалист и пьяница. Дед был единственным человеком, которому он беспрекословно подчинялся. Но грузчик всегда ругал деда за «телячьи нежности», обзывал дураком, кричал, что все они, бабы, одинаковы, каждая, как тяжелая бочка: всю жизнь таскаешь на плечах, а только споткнулся, она ж тебя и придавит.

Дед работал маляром, но считал себя художником и верил, что еще напишет великое полотно. Если бы кто-нибудь разрушил эту веру, дед остался бы на всю жизнь сломленным человеком. Бабушка это знала и всегда поддерживала все его творческие замыслы. Дед малевал вывески, красил окна, белил потолки. А по вечерам, после работы, писал задуманную для выставки картину, которая должна была принести ему всемирное признание.

Каждые три года в городе устраивали выставку любителей, и дед выставлял там свою работу. Картину дружно ругали и критики, и посетители, но в конце концов кто-нибудь её обязательно покупал, и дед получал заряд веры и энергии на следующие три года.

В семьдесят пять лет деда выбрали на улице без сознания. Он умер за неделю до бабушкиного дня рождения. Впервые за всю жизнь бабушка осталась без «Красной Москвы».

А вечером явился старый грубиян-грузчик, бережно вытащил из-за пазухи и поставил на стол две бутылки тройного одеколona. Это были самые большие бутылки, которые только можно было найти на парфюмерной базе. Потом с нарочитой грубостью попытался оправдаться: «Этот же дурак её приучил!..» И,

не выдержав, заплакал, наверное, первый раз в своей жизни.

После смерти деда бабушка вытащила из сарая его пятнадцать картин и повесила их в комнате. Вот где прятались картины с выставок, которые бабушка в течение пятидесяти лет покупала через подставных лиц на сэкономленные в хозяйстве деньги. Это был повседневный подвиг всей ее жизни...

Славные, славные чудачки! Как жаль, что в автобусах, на берлинских улицах и площадях я не встречаю этих веселых, светлых и благородных людей.

ИЗРАИЛЬСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Иосиф шел ночью по бульвару Иерусалаим, и идруг ему в затылок уперлось дуло пистолета.

— Гони деньги! — рявкнул на него из-за спины голос. — А то мозги вышибу.

— Стреляй, пожалуйста, — сказал Иосиф. — Без мозгов в Израиле прожить можно. А вот без денег — никак нельзя.

Абрам сидит и просит милостыню. Исаак подходит, роется в карманах, достает шекель и говорит:

— Абрамчик, извини, я вчера женился, теперь у меня жена, пойдут дети... Короче, три шекеля, как прежде, давать тебе я не могу.

Абрам вскакивает и кричит:

— Еврей, скорее сюда! Посмотрите на этого подлеца! Он вчера женился, а я сегодня должен его семью кормить!

— Залцман, сколько вам лет?

— Сорок, и я уже пять лет в Израиле.

— Но ведь вам и в прошлом году было сорок?

— Да, но я же год болел!

— Но вы же жили?

— Чтоб вы так жили!

- Грубштейн, куда вы так спешите?
- Домой, там сейчас Рабинович наедине с моей женой.
- Но чего вы волнуетесь? Сейчас же день.
- Вы не знаете Рабиновича, он и днем может переночевать .

КАРЛ АБРАГАМ

*Каждый из нас в этой долгой жизни нет-нет да и
ляпнет что-нибудь интересное. Вот я и решил назвать свои
короткие высказывания не совсем обычно:*

ЛЯПАНЫ

- * «Отстающих бьют», а передних убивают.
- * Мужская клятва: «Век виагры не видать!»
- * Объявление в газете «Выкрест»: *Наращиваю
крайнюю плоть!*
- * Дружеские шаржи на стариков трудно отличить
от карикатур.
- * Если бы дети не повторяли ошибок своих роди-
телей, то через 2—3 поколения общество стало бы иде-
альным.
- * На заметку пожилому человеку: Приветствуя
женщину и целуя ей руку, вы обнажаете свою лысину.
Здороваясь за руку и глядя ей в глаза, вы обнажаете
свою душу.
- * О жёнах. Пессимист: «С ними плохо, без них ещё
хуже». Оптимист: «С ними хорошо, без них ещё луч-
ше».
- * Чтобы быть вечно молодым, нужно чаще же-
ниться.
- * Бойтесь молчаливых: неизвестно, о чём они мол-
чат.
- * Преданность и предательство — слова одноко-
ренные...
- * Всё продаётся и всё покупается, но не каждый
продается и не каждый покупается.

РАИСА ФИЛИППОВА

Смысл жизни состоит в поиске смысла жизни.

Когда живёшь полной жизнью, нет времени подумать о её смысле.

Мы откладываем жизнь на потом, а потом обнаруживаем, что ничего не бывает потом.

У того, кого мы любим, всегда есть власть над нами.

Если вы недовольны своей жизнью, она от этого становится ещё хуже.

Кто не тратит деньги, так же беден, как и тот, кто их не имеет.

Когда от жизни ничего не ждёшь, есть больше шансов что-то получить.

Счастье — это реализация себя.

Неразделённая любовь вечна, разделённая быстро проходит.

ВЕСЛАВ БРУДЗИНСКИЙ

Бывают книги умнее своего автора, *но выше корректора.*

Женитьба похожа на лотерею: всегда есть надежда, что повезёт в следующем тираже.

Аргументы взвешиваются вместе с тем, кто их выдвигает.

Не летай слишком высоко: могут не заметить.

Когда с человека уже совсем нечего взять, с него берут пример.

Не обивай двери своего кабинета кожей: не услышишь шагов преемника.

Существуют организмы, состоящие из одних ахиллесовых пят.

Перевод с польского



Герберт Фербер. Неопалимая купина (1951). Сталь.

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЭТЫ ПОЛЬШИ

Эти стихи взяты из книги еврейских поэтов –
узников Варшавского гетто и нацистских
конлагерей.

Книга готовится к изданию. Стихи впервые даны
в переводе на русский язык.

Редколлегия альманаха.

ДОВИД
КЕНИГСБЕРГ

1891-1941(?)

* * *

Душой, во сне, я слушал это пенье,
под ритм солдатского литого каблука,
что доносился до меня издалека,
всё повергая в трепет и волненье.

Я затанцля, напрягая зренья,
а звук плясал и вниз стремился с потолка,
мне показалось, он твердил наверняка:
«Исполни долг, довольно размышленья!»

Я силы все собрал, взгляделся в темноту
и увидал солдат, застывших на посту
в чужой стране, перед шатром военным.

Я бросился к окну, очнувшись ото сна:
ни ветра, ни дождя, плывёт себе луна.
Мир грёз моих в безделье откровениом.

пер. Леонида Бердичевского

* * *

И онемсют все колокола.
И не возникнет даже мысль о мире.
Прогонят ночь. Глас зазвучит в эфире,
который вся вселенная ждала.

И тут удар гигантского кайла
распространит свои движенья шире.
Он громом в каждой прогремит квартире
и выбьет ложь из каждого угла.

И рухнут все прогнившие стволы.
И молодые расцветут победы.
Останутся, как в Ноевом ковчеге,
те, кто достоин общего стола.

Дыханье освежающего взлёта
не прекратит тяжёлая работа.

пер. Леонида Бердичевского

МИРИАМ УЛИНОВЕР

1890-1944

КОЛЕЧКО

«Не снимай его с пальца, прошу, никогда,
не живи с ним в разлуке.
Если радость придёт и настигнет беда
в нашем замкнутом круге».

Так ношу я своё небольшое кольцо
с голубым аметистом.
Хлеб свой изредка ем, умываю лицо,
с сердцем честным и чистым.

Мать моя дорогая! Мне голод, поверь,
нипочём, в самом деле.
Только пальцы мои стали тоньше теперь,
здесь они похудели.

Берегу я как глаз и как честь, берегу
небольшое колечко.
Никогда я с ним к скупщику не забегу,
с ним останусь навечно.

Без него ни один я не сделаю шаг
сквозь голодные зимы.
Лишь его беспощадный и лютый наш враг
вместе с жизнью отнимет.

пер. Леонида Бердичевского

МОРДЕХАЙ ГЕБИРТИГ

1877-1942,

В ГЕТТО

Толпою рабов по колючкам стерни,
хоть двигаться нет больше мочи,
в гетто ползут наши долгие дни,
наши бессонные ночи...

Ползут часы, тяжелей, чем свинец,
и в каждой минуте — страх.
Мы молим, чтоб день прошёл наконец,
о мире мы молим впотьмах.

Слух напряжён, заснуть нам невмочь,
и ужас крадётся, как тать:
кому суждено в эту страшную ночь
новою жертвою стать?..

Чуть скрипнет дверь, растревожена тишь, -
и холод в сердце ползёт.
Бросает нас в дрожь, если слышим как мышь
бумагу в углу грызёт.

Всё тело немеет — шуршит во дворе
бумагою ветер шальной,
и каждый прощается в мрачной норе
с матерью, сыном, женой.

И так мы в тисках роковой западни
рабскую долю волочим,

так тянутся наши долгие дни,
наши бессонные ночи.

пер. Давида Яновского

НАШЕ МЕСТЕЧКО ГОРИТ

Горит, братцы, горит!
Местечко наше бедное —
ой-вэй, оно горит!
Встры дико завывают,
злое пламя раздувают,
всё вокруг горит!

Всё местечко всполошилось,
смотрит и кричит,
и никто не двинет пальцем—
дом родной горит!

Горит, братцы, горит!
Местечко наше бедное,
ой-вэй, оно горит!
Пламя воет и клокочет,
поглотить местечко хочет,
всё оно горит!

Всё местечко всполошилось,
смотрит и кричит,
и никто не двинет пальцем—
дом родной горит!

Горит, братцы, горит!
Горит убогий наш быт!
Весь наш город вместе с нами
превращает пепел в пламя,
страшен тёмными ночами
стен сгоревших вид!

Всё местечко всполошилось,
смотрит и кричит,
и никто не двинет пальцем—
дом родной горит!

Горит, братцы, горит!
Так хватит плакать навзрыд!

Вёдра вы скорей берите,
кровью собственной тушите,
от огня спасти местечко
совесть нам велит!

Вы не стойте, не рыдайте,
ничего кричать,
вы не стойте, не рыдайте,
надо дом спасать!

Пер. Давида Яновского

МОШЕ ШКЛЯР

1920-194?

ЕВРЕЙСКИЕ СЛОВА

Они в одних печах горели
с родными нашими в огне...
Они скорбят со мной доселе,
они мне дороги вдвойне.

Я с ними все пути земные
пройду с течением годов.
Слова еврейские простые
я в песню превратить готов.

Пер. Альфреда Ходорковского

РАХЕЛЬ КОРН

1898-194? .

КАКОЕ СЛОВО

Слово какое меня к вам приблизит,
слёзы какие дорогу укажут?
Нитями лунными каждую ночью
тянет меня к обители мёртвых.

Сколько рассветов прожить суждено мне,
чтобы я сам ваши муки изведаль,
чтобы я стал на последней границе,
как серый камень стоит на могиле.

Пер. Альфреда Ходорковского

АВРОМ
ШУЦКИВЕР

1913-19??

СКРИПАЧ ИЗ ГЕТТО

Теперь его песни уже не звучат —
те песни, что душу его согревали.
Немало познал он тяжелых утрат,
но скрипки ему всё равно не хватало.

Со звуками скрипки душевный огонь
терял свою силу, совсем угасал он.
Не явится чудо, не сбудется сон,
но скрипки ему всё равно не хватало.

У самых ворот, как бутылку вина,
её закопал он, угрюм и печален,
чтоб в руки врагов не попала она,
чтоб с ним его скрипку они не забрали.

Но кто он, однако, без скрипки своей?
Охапка костей без души и без страсти...
А время чредою катившихся дней
приходит — уходит, течёт безучастно.

Здесь слёзы — всего только капли воды,
и слово, как пыль, уносимая ветром.
А над головой свет вечерней звезды
бледнеет пред тем, как исчезнуть из гетто.

Здесь люди, как тени. Унынья печать
стоит неизменно, как смерть в изголовье.
А кровь на камнях и на кирпичах
не знает того, что зовут её кровью.

Он вечером поздним лопату берет
и тихо крадется туда, где он прежде
её схоронил. В руки скрипку возьмет
и с ней, наконец, обретет он надежду.

Она для него и надежда, и свет,
источник живительный — душу питает.
Он, кажется, видит её силуэт
и, силы собрав, он усердно копает.

Он скрипку из ямы дрожа достаёт —
теперь в его чутких руках она снова.
Потом мимо стен торопясь проскользнет
в свой город еврейский,
в тень гетто ночного.

А там, среди серых домов и камней,
на ней заиграл он в душевном порыве.
Он с нею — одно. И в ночной тишине
господствует песня её горделиво.

И рады, как дети, той песни слова,
и дети становятся музыкой сами.
Здесь смерть
не дожидается уже торжества —
молчанье встанут сражаться с врагами.

Все вместе выходят они из могил.
Их серые лица рососою покрыты.
Он видит того, кого верно любил:
жену и сыночков, невинно убитых.

Здесь каждый, кого за собой он позвал,
исполнился силы, душой возродился.
И слёзы — не слёзы... Никто не видал,
как в каждой слезе целый мир отразился.

Собрались они, молчаливо глядят,
не слышно ни жалоб, ни жалких рыданий.

ДОВИД
СФАРД

1907-19?? .

СЛОВО

Породниться бы с мечтою,
сохранить её в душе.
Не с заоблачной — живою,
той, что вызрела уже.

Всё земное пеплом стало,
всё, что милым было мне.
Слово доброе осталось,
в страшном не сгорев огне.

Проникает в душу слово
ярким солнечным лучом.
Разбудив надежд основу,
вытесняя зло — добром.

Пер. Марка Шейнбаума

МИША ТРОЯНОВ

1906-1942

АКТУАЛЬНОЕ

Дверь на замок и плотнее окно!
Злые собаки воют давно.
Рвутся с цепи, со злобою скачут.
Дети проснулись. Испуганно плачут.
Жизнь беспросветна. Печальна она,
Горечь её пропитала до дна.
С болью и гневом сжимаются руки.
Камешь в окно кто-то кинул от скуки.
Зачем только звёзды им путь освещают —
убить и ограбить никто не мешает.
Дверь на замок. Не стой у окна!
Воем и злобой ночь вся полна.
Окно занавесь и огарок зажги.
Тревожные ночи. Ужасные дни!

Пер. Марка Шейнбаума

КАЛМАН ЛИС

1903-1942,

РУЧОНКИ

Давно я не жду от жизни добра,
приемлю судьбы решенье любое.
Тянутся детские ручки с утра
в напрасной надежде на что-то съестное.

Ладочки нежные холодом скрючены,
ноют распухшие синие пальцы.
Глазки печальны, лица измучены,
мало в них детского, в этих страдальцах.

Пищу найти бы для деток любую,
хотя бы совсем по маленьким крохам...
Вижу задачу поэта земную:
бороться за них до последнего вздоха.

Давно я не жду от жизни добра,
приемлю судьбы решенье любое.
Тянутся детские ручки с утра
в напрасной надежде на что-то съестное.

Пер. Марка Шейнбаума

Калман Лис был расстрелян вместе со своими воспитанниками в г. Отводе под Варшавой, когда фашисты уничтожали еврейские детские дома в оккупированной Польше.

ОБ АВТОРАХ

**Карл Абрагам**

Родился в 1930 г. в Берлине. По профессии врач, гинеколог-онколог. Печататься начал с 1983 г. Публиковался в журналах "Донбасс", "Радуга", литературном альманахе "До и после" № 3 и 4. В 2000 г. выпустил книгу "Два часа и вся жизнь".

**Леонид Бердичевский**

Родился в 1938 г. в Киеве. Окончил Ленинградский институт им. Репина. Художник. В Германии с 1993 г. Книги стихов и переводов: "В пути меж небом и землей", "Сонеты", "Божественный огонь" (перевод стихов И. Мегрелишвили). Публикации в журналах "Радуга", "Новая студия", "Зеркало загадок" и "Родная речь", в альманахах "Берега" №1 и 2, "Параллели" (на русском и немецком яз.), "До и после" № 1, 2, 3 и 4. Опубликовал много переводов с французского.

**Марлен Глущкин**

Родился в 1932 г. в Киеве, по профессии инженер. Почти 40 лет совмещал писание киносценариев, пьес, рассказов и стихов с инженерной работой: строил автомобильные дороги, жилые здания, реставрировал памятники архитектуры. Автор нескольких книг, изданных в СССР. В Германии с 1992 г., здесь печатался в литературных альманахах "До и после", "Третий этаж", "Берега" и других, выпустил книги "Театр абсурда" и "Графиня".

**Вячеслав Демидов**

Родился в 1933 г., москвич, инженер по электронике, к. филос. н. Журналист с 1965 г. Автор статей во многих журналах и газетах СССР, 10 научно-художественных книг по науке и технике, а также нескольких книг, брошюр и лекционных курсов по рекламе и маркетингу. В Германии с 1990 г., здесь написал книги "Король Фридрих Великий", "Граф Фердинанд фон Цеппелин и его дирижблн", лекционный курс рыночной экономики, опубликовал несколько статей.

**Елена Ещенко**

Родилась в 1963 г. в Красноярске. Окончила Уральский университет. По специальности историк-архивист. В Германии с 2000 г. Опубликовала два рассказа в альманахе "До и после".

**Петр Заманский**

Родился в 1921 г. в г. Николаеве, окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве. В Германии с 1978 г. Публикации: книга "Как польны на губах", альманахи "Третий этаж", "До и после" (№ 1, 2, 3, 4), журнал "Студия".



Мальвина Зор

Родилась в Киеве в 1970 г., художник. В Германии с 1989 г., публикация в сборнике "До и после" № 4.



Маргарита Их

В 1925 году меня нашли в капусте. Моя семнадцатилетняя мама ходила из деревни Устье на шоссе смотреть автопробег машин АМО. Роды начались на обратном пути. Маме помогала тетя Паша: завернула меня в свой фартук, положила в капустную грядку, потом забыла, куда, — еле нашла. Мой восемнадцатилетний папа хотел сына. Что я девочка, перенес мужественно. Потом много чего случалось. Хотите узнать, почтайте наши альманахи или книжечку "Ферштетт эн?".



Леонид Кац

Родился в 1930 г. в Ленинграде, окончил Инженерно-строительный институт в Москве, кандидат технических наук. В Германии с 1991 г., публиковался в журналах "Зеркало заглавок", "Студия", "Юдишес Берлин", альманахах "Берега" № 1 и 2, "Третий этаж", "До и после" № 1, 2, 3 и 4.



Яна Кутин

Родилась в Москве. Доктор наук. Выпустила книгу стихов "Белый снег" и книгу прозы "Об ушедшем веке", печаталась в альманахе "До и после" № 2 и 3.



Леонид Лейках

Родился (1929 г.) в Одессе, в семье потомственного кондитера. Учился на инженера, трудился и окончил ученую степень в Москве. Многократно печатался в технических и научных журналах. Литературным творчеством занялся в Берлине. Дебютировал в газете "Русский Берлин" с рассказами о навеки родной Одессе. В альманахе "До и после" №4 напечатал эссе.



Станислав Львович

Родился в 1934 г. Доктор технических наук. В Берлине с 1995 г. Выпустил в 1999-2001 гг. сборники стихов "И в шутку, и всерьез", "Крохи истины", "Ребятам-дошколятам". "Искренне говорю Вам!"



Семён Лурье

Родился в 1927 г. Врач-психиатр. В Германии с 1992 г. Опубликовал несколько стихотворений в альманахе "До и после" № 3 и 4.



Генриетта Лиховникая

Родилась в 1938 г. в Ленинграде. Закончила там Политехнический институт. В Берлине с 1996 г. С 1994 г. член Союза литераторов России. Публикации в альманахах "До и после" № 1, 2, 3 и 4. "Дружба", "Третий этаж", журналах "Веселые картинки", "Колобок", "Нева", "Родная речь" и др. Сборники стихов "Увидеть рассвет", "Загадка карт влечет", "Чудеса", "Отблески", "Reflexionen".



Анна Осмоловская

Родилась 16 мая... По профессии музыкант. Вся жизнь до приезда в Германию занималась тем, что учила детей. Публикации в сборниках "Студия", "Береза", "До и после". Люблю писать для взрослых о детях, потому что люблю детей и, надеюсь, понимаю их.



Анжелла Подольская

Родилась в 1946 г. в Киеве. Окончила Киевский Университет. Математик-программист. В Германии с 1994 г. Книга стихов "Я не от плоти...". Публикации стихов и рассказов в альманахах "Берега" № 1 и 2, "Параплели" (на русском и немецком яз.), "До и после" № 1, 2, 3 и 4.



Любовь Рейнгац

Родилась в г. Зипорожье. С 1975 года жила в Подмосковье, с 1999 года живет в Берлине.

Профессия - преподаватель по классу фортепиано. Две публикации в периодических изданиях России и Германии.



Анна Сохрина

Родилась в Ленинграде, окончила факультет журналистики университета, печаталась в журналах "Аврора", "Звезда". С 1994 г. живет в Германии. Автор книги "Моя эмиграция", посвященной русским евреям в Германии.



Вера Фёдорова
 Родилась в 1938 г. в Ленинграде.
 Художник.
 В Германии с 1996 г.
 В этом номере альманаха первая публикация.



Альфред Ходорковский
 Родился в 1934 г. на Украине. Окончил Черкасский педагогический институт. Филолог. В Германии с 1995 г. Книга стихов "Откровение", публикации в альманахах "Третий этаж", "До и после" № 2, 3, 4.



Борис Черепашенко
 Родился в 1923 г. в городе Бердичеве, по профессии инженер. В Германии с 1993 г.
 Публикации в альманахах "Берега", "Третий этаж", "До и после" № 1, 2, 3, 4.



Марие Шейнбаум
 Родился в 1928 г. в городе Ковеле Волинской области (Западная Украина), врач-хирург. В Германии с 1994 г.
 В альманахе "До и после" № 4 опубликовал два рассказа и переводы стихов немецких и польских поэтов.



Ульяна Шереметьева
 Родилась в 1967 г. в Тернополе (Украина). Окончила Московское высшее художественно-промышленное училище. Художник. В Германии с 1993 г. Публикации в журнале "Остров", альманахах "Берега" №1 и "До и после" №4.



Михаил Энциштейн
 Одессит, родился в 1932 году. По специальности геолог. Работал на Крайнем Севере, в Средней Азии, в Одесском институте «Биотехника» АН УССР, в Еврейском благотворительном центре им. Гарри и Жаннет Вайберг. Живёт в Берлине с 1997 г. Первые публикации в 1957 г. С 1999 г. печатается в альманахах «До и после», «Третий этаж», журнале «Крешатик», в периодических изданиях Германии, Израиля, США, Украины.



Давид Яновский

Родился в Киеве в 1933 г., инженер-металлург, в Германии с 1997 г., публикации: книга "Стихотворения" (Киев, 1997), стихи в альманахе "До и после" № 3 и 4.

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Карл Абрагам	5
Леонид Бердичевский	14
Елена Ещенко	19
Пётр Заманский	26
Мальвина Зор	31
Маргарита Их	35
Леонид Кац	44
Леонид Лейках	47
Семён Лурье	54
Генриетта Ляховицкая	59
Анна Осмоловская	75
Анжелла Подольская	91
Любовь Рейнгац	106
Анна Сохрина	111
Альфред Ходорковский	121
Борис Черепашенец	125
Марк Шейнбаум	129
Ульяна Шереметьева	138
Михаил Эненштейн	142
Давид Яновский	157

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Вячеслав Демидов	163
Яна Кутин и Андрей Бройдо	178
Юлиан Тувим (перевод М. Шейнбаума)	193

НОВЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский	201
Альфред Ходорковский	205
Давид Яновский	206

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Станислав Львович	215
Генриетта Ляховицкая	218
Вера Фёдорова	221

ЮМОР

Марлен Глинкин	227
Карл Абрагам	237
Раиса Филиппова	238
Веслав Брудзинский	239

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЭТЫ ПОЛЬШИ

(Переводы Л. Бердичевского, А. Ходорковского, Д. Яновского и М. Шейнбаума)	241
---	-----

ОБ АВТОРАХ	247
------------------	-----